

Элизабет
Страут

СМОТРИТЕ МИНИ-СЕРИАЛ КАНАЛА HBO

ОЛИВИЯ КИТТЕРИДЖ

РОМАН — ЛАУРЕАТ ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ

Психологичный,
вызывающий глубокую
симпатию роман
в новеллах, который
надолго запомнится.

О: THE OPRAH MAGAZINE

18+



Элизабет Страут Оливия Киттеридж

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9243453

Оливия Киттеридж: Эксмо; Москва; 2015
ISBN 978-5-699-78635-0

Аннотация

«Оливия Киттеридж» – одна из самых известных книг Элизабет Страут. Именно за эту книгу она была удостоена Пулитцеровской премии, а кроме того, испанской премии Libreter и итальянской Bancarella.

Страут создала уникальное романное пространство и населила его колоритными героями, главная из которых, Оливия Киттеридж, женщина с сильным, противоречивым характером, обладает удивительным магнетизмом.

Каждая из тринадцати новелл, составляющих книгу, содержит увлекательнейшую историю, которая захватывает и дарит ни с чем не сравнимое читательское удовольствие.

Содержание

Аптека	4
Прилив	56
Пианистка	89
Малый всплеск	114
Конец ознакомительного фрагмента.	127

Элизабет Страут Оливия Киттеридж

*Моей матери,
умеющей превратить жизнь
в волшебство и лучшей из всех известных
мне рассказчиц*

Аптека

Генри Киттеридж был фармацевтом и много лет держал аптеку в соседнем городке. Он отправлялся туда каждое утро по заснеженным дорогам, по дорогам, размокшим от дождей, а в летнее время, на самой окраине города, прежде чем он сворачивал на более широкую дорогу, ведущую к аптеке, кусты дикой малины и ежевики протягивали к нему свои буйно разросшиеся новые ветви. И сейчас, уйдя от дел, он по-прежнему просыпается рано и вспоминает о том, что эти утра становились его самой любимой частью дня, будто мир был его личной тайной: тихий ропот шин внизу, под ним, свет, проникающий сквозь утренний туман, залив, на краткий миг показавшийся справа, а потом – сосны, высокие и стройные... И почти всегда он ехал с приоткрытым окном, потому что любил за-

пах хвои и густо просоленного воздуха, а зимой ему нравилось, как пахнет холод.

Аптека – небольшой двухэтажный дом, примыкавший к другому такому же, где отдельно друг от друга размещались два магазинчика – скобяной и продовольственный. Каждое утро Генри оставлял машину за домом, у больших железных баков, а затем входил в аптеку через черный ход и принимался зажигать везде свет, включать отопление или, если стояло лето, запускать потолочные вентиляторы. Он открывал сейф, закладывал деньги в кассовый аппарат, отпирал входную дверь, мыл руки и надевал белый лабораторный халат. Этот ритуал доставлял ему удовольствие, словно старая аптека с ее полками, заполненными зубной пастой, витаминами, косметикой, украшениями для волос, даже швейными иглами и поздравительными открытками, так же как и резиновыми грелками и клизмами, была старым другом, надежным и стойким. И какие бы неприятности ни случались дома – например, тяжесть на душе из-за того, что его жена часто покидает постель, чтобы в темные ночные часы бродить по дому, – все это отступало, словно линия берега, когда Генри оказывался в своем убежище – в своей старой аптеке. Стоя в дальнем конце, у ящичков и шкафов с рядами пилюль и таблеток, Генри с радостью отвечал на телефонные

звонки, с радостью встречал миссис Мерримэн, явившуюся за лекарством от повышенного давления, или старого Клиффа Мотта, пришедшего за дигиталисом; он пребывал в хорошем настроении, даже готовя валиум для Рэчел Джонс, чей муж сбежал в ту самую ночь, когда родился их ребенок. Генри прекрасно умел слушать и множество раз в неделю произносил: «Подумать только! Мне ужасно жаль слышать это!» или «Смотри-ка, ведь это просто здорово!»

В глубине души он таил вечное беспокойство человека, в детстве ставшего свидетелем двух случаев нервного расстройства матери, которая – за исключением этих эпизодов – пеклась о нем с крикливой нежностью. Поэтому, если вдруг – очень редко – случилось, что покупатель расстраивался из-за стоимости лекарства либо его раздражало качество марлевого бинта или пузыря со льдом, Генри делал все возможное, чтобы поскорее уладить недоразумение. Многие годы у него работала миссис Грейнджер: ее муж-рыбак занимался ловлей омаров, и она, казалось, приносила с собой в аптеку холодный бриз открытого моря, не испытывая особого желания угождать недоверчивым покупателям. Заполняя сигнатурки, Генри вполуха прислушивался к тому, что происходит у кассового аппарата, не отправляет ли она прочь очередного покупателя. И не раз такой же внутренний тре-

пет рождался в его душе, когда он страшился увидеть, что его жена Оливия слишком сурово обходится с Кристофером из-за не выполненного им домашнего задания или данного ему поручения: это было ощущение постоянно напряженного внимания, потребности сделать так, чтобы все были довольны и согласны меж собой. Если он слышал, что голос миссис Грейнджер начинает звучать немного громче, он делал несколько шагов вперед от своего поста в конце зала по направлению к центру, чтобы самому побеседовать с покупателем. Но, вообще-то говоря, миссис Грейнджер прекрасно справлялась со своей работой. Генри ценил ее за неболтливость, за то, что она держала в совершенном порядке инвентарные списки и практически никогда не болела. Он был поражен, когда в одну непрекрасную ночь она неожиданно скончалась во сне, оставив у него странное чувство вины, будто он, столько лет работая с нею рядом, проглядел какие-то симптомы болезни, которую он, всю жизнь имеющий дело с пилюлями и шприцами, мог бы излечить.

– Серенькая, – произнесла Оливия, когда он взял себе новую сотрудницу. – На мышку похожа.

У Дениз Тибодо были круглые щеки и маленькие глазки, с любопытством смотрящие сквозь большие очки в коричневой оправе.

– Правда, на очень милую мышку, – ответил Ген-

ри, – привлекательную и смышленную.

– Человек не может привлекательно выглядеть, если не способен держаться прямо, – парировала Оливия.

И верно – узкие плечи Дениз чуть клонились вперед, словно она просила прощения за что-то. Ей было двадцать два года, и она только что окончила Вермонтский университет. Мужа ее тоже звали Генри, и Генри Киттеридж, впервые встретившись с Генри Тибодо, оказался просто покорен его совершенством, которого тот абсолютно не осознавал. Молодой человек был крепким и сильным, с твердыми чертами лица, а в глазах его сиял свет, придававший этому, вполне обычному, честному лицу неугасающее великолепие. Он был водопроводчиком и работал в фирме собственного дяди. Они с Дениз поженились год тому назад.

– Не очень-то жажду, – произнесла Оливия, когда Генри предложил пригласить молодую пару на обед. Он больше не поднимал разговора на эту тему. То было время, когда их сын, внешне еще не являвший признаков подросткового возраста, стал неожиданно строптивым и мрачным, его настроения были словно распыленный в воздухе яд, и Оливия казалась столь же изменившейся и переменчивой, как сам Кристофер. Мать и сын часто устраивали яростные ссоры, а

временами так же неожиданно укрывались за завесой молчаливой близости, в пространстве которой озадаченный и ничего не понимающий Генри чувствовал себя третьим лишним.

Однако как-то под конец летнего дня, стоя с Дениз и Генри Тибодо на парковке за аптекой и глядя, как солнце прячется за пышные кроны сосен, Генри Киттеридж испытал такое острое желание быть рядом с этой юной парой, видеть их молодые лица, обращавшиеся к нему с застенчивым, но глубоким интересом, стоило ему завести рассказ о давних годах собственной университетской юности, что он произнес:

– Слушайте-ка, мы с Оливией хотим, чтобы вы пришли как-нибудь к нам поужинать. В ближайшее время.

Он ехал домой мимо высоких сосен, мимо промельков залива и представлял себе, как семейство Тибодо едет в противоположную сторону, к своему трейлеру на окраине городка. Он рисовал в своем воображении их дом на колесах, уютный и вычищенный до блеска, – Дениз была чистоплотна и аккуратна во всем, что делала, – и воображал, как они рассказывают друг другу о том, что случилось за день. Дениз, вполне возможно, говорит: «С таким боссом легко работается». А Генри, возможно, отвечает: «Да, мне он тоже по душе пришелся».

Генри Киттеридж въехал на подъездную аллею, ко-

торая была не столько аллеей, сколько небольшой травянистой лужайкой на верхушке холма, и увидел в саду Оливию.

– Привет, Олли! – сказал он, подойдя к жене.

Ему хотелось ее обнять, но лицо ее укрывал мрак, казалось, этот мрак стоит с ней рядом, словно знакомый, не желающий отойти в сторону. Генри сообщил жене, что пригласил Дениз с мужем на ужин.

– Это надо было сделать, – объяснил он.

Оливия отерла капельки пота с верхней губы, повернулась вырвать пук сорной травы.

– Ну что ж тут поделаешь, мистер президент, – ответила она, – отдайте распоряжения повару.

Вечером в пятницу Дениз и Генри Тибодо приехали следом за ним. Молодой Генри сказал, пожимая руку Оливии:

– Приятный у вас дом. И с видом на воду. Мистер Киттеридж говорит, вы сами, вдвоем, его построили.

– Да, действительно.

За столом Кристофер уселся боком, с подростковой неуклюжестью развалившись на стуле, и не ответил, когда Генри Тибодо спросил его, занимается ли он в школе каким-нибудь видом спорта. Генри Киттеридж почувствовал, как в нем неожиданно вспыхнула ярость; ему захотелось прикрикнуть на мальчишку, чьи дурные манеры, как ему представилось, свиде-

тельствовали о чем-то неприятном, чего никак нельзя было ожидать в доме Киттериджей.

– Когда работаешь в аптеке, – обратилась Оливия к Дениз, ставя перед ней тарелку с печеными бобами, – узнаешь секреты всех жителей города. – Оливия села напротив молодой женщины и подтолкнула к ней бутылочку с кетчупом. – Приходится учиться держать язык за зубами. Впрочем, вы, кажется, и так умеете это делать.

– Дениз это понимает, – заметил Генри Киттеридж.

– Точно, – откликнулся ее муж. – Надежней, чем Дениз, вам никого не найти.

– Думаю, вы правы, – сказал Генри, передавая своему тезке корзинку с булочками. – И пожалуйста, зовите меня просто Генри. Это одно из моих самых любимых имен, – добавил он.

Дениз тихонько засмеялась. Он ей явно нравился, это было заметно даже ему самому.

Кристофер еще глубже вдавился в стул.

Родители Генри Тибодо жили далеко от берега, на ферме, так что оба Генри принялись рассуждать об урожаях, о вьющейся фасоли и о том, что кукуруза этим летом не такая сладкая из-за недостатка дождей. А еще о том, как лучше делать грядки для спаржи.

– Ох, ради всего святого! – произнесла Оливия, ко-

гда, передавая кетчуп молодому собеседнику, Генри опрокинул бутылочку и красная жидкость, словно загустевшая кровь, выплеснулась на дубовый стол.

Пытаясь поднять бутылку, он неловко подтолкнул ее, и она покатила дальше, а кетчуп оказался у него на пальцах, а затем и на его белой рубашке.

– Оставь, Генри! – скомандовала Оливия, поднимаясь с места. – Просто, ради всего святого, оставь кетчуп в покое.

И Генри Тибодо, возможно, оттого, что услышал свое собственное имя, произнесенное резким тоном, испуганно выпрямился на стуле.

– Господи, ну и беспорядок же я тут устроил! – огорчился Генри Киттеридж.

На десерт каждому подали голубую пиалу с перекатывающимся в самой ее серединке шариком ванильного мороженого.

– Ванильное – самое мое любимое, – сказала Дениз.

– Неужели? – спросила Оливия.

– И мое тоже, – заявил Генри Киттеридж.

Пришла осень, утра становились все темнее, и в аптеку ненадолго попадала только тонкая прядка солнечного света, прежде чем солнце перекатывалось через крышу дома, оставляя торговому залу лишь

свет потолочных ламп. Генри обычно стоял в конце зала, наполняя пластмассовые флакончики, отвечая на телефонные звонки, а Дениз – впереди, недалеко от входа, у кассового аппарата. Когда наступало время ланча, она разворачивала принесенный из дому сэндвич и устраивалась поесть в задней комнате, где был небольшой склад, а потом и Генри съедал там свой ланч, но порой, если никого в аптеке не было, они позволяли себе помедлить вместе за кофе, купленным в соседнем магазинчике. Дениз была по природе своей молчалива, но иногда у нее случались приступы разговорчивости. «Знаете, – говорила она, – моя мама много лет страдала рассеянным склерозом, так что мы все с детства научились ухаживать за больными. У меня трое братьев, и все совсем разные! Вам не кажется странным, что такое случается?» Самый старший брат, говорила Дениз, поправляя на полке бутылку с шампунем, был любимцем отца, пока не женился на девушке, которая отцу не понравилась. А ее собственные свекровь и свекор – просто замечательные. До Генри у нее был друг-протестант, его родители не так хорошо к ней относились. «У нас с ним ничего бы не получилось», – сказала она, заправляя за ухо прядь волос. А Генри ответил ей: «Ну, ваш Генри – потрясающий молодой человек».

Она кивнула, улыбаясь глазами сквозь очки, буд-

то тринадцатилетняя девчонка. И опять он представил себе их трейлер и ее вдвоем с мужем, прижавшихся друг к другу, словно щенята-переростки; он не мог объяснить, почему это давало ему какое-то особое ощущение счастья – оно, словно жидкое золото, заполняло все его существо.

Дениз работала так же умело и энергично, как миссис Грейнджер, но гораздо спокойнее. Она могла сказать покупателю: «Прямо под витаминами, во втором проходе. Пойдите-ка, я вам сама покажу». Как-то раз она призналась Генри, что иногда разрешает покупателям походить по аптеке, прежде чем они попросят ее им помочь. «Знаете, так они могут найти что-то нужное, о чем сами раньше не подумали. И у вас продажи поднимутся». На стекле полки с косметикой играли лучи зимнего солнца, деревянные половицы медово поблескивали.

Генри одобрительно поднял брови: «Мне здорово повезло, Дениз, когда вы вошли в эту дверь». Она тыльной стороной ладони подтолкнула повыше очки и провела метелкой для обметания пыли по баночкам с мазями.

Джерри Маккарти, паренек, доставлявший в аптеку фармацевтические товары из Портленда раз в неделю, а то и чаще, если требовалось, иногда тоже съедал свой ланч у них в задней комнате. В свои восем-

надцать лет, только-только со школьной скамьи, он был крупным, толстым мальчишкой с гладкими щеками и так обильно потел, что на его рубашке проступали влажные пятна, иногда даже на груди, чуть ниже сосков, так что можно было подумать, что у бедного парня, как у кормящей матери, подтекает молоко. Он усаживался на ящик – его толстые колени поднимались почти до самых ушей – и жевал сэндвич, из которого вываливались залитые майонезом кусочки яичного салата или тунца, падавшие ему на рубашку. Не раз Генри наблюдал, как Дениз протягивает Джерри бумажное полотенце. Однажды он услышал, как она говорит парню: «Со мной такое тоже случается. Стоит мне взять сэндвич не с холодным мясом, я обязательно заляпаюсь». Это никак не могло соответствовать действительности. Дениз всегда была чиста и опрятна, как новенькая монетка, хоть и некрасива – посмотреть не на что. И простодушна, вся как на ладони.

«Добрый день, – обычно говорила она, отвечая на телефонный звонок. – Это городская аптека. Чем я могу помочь вам сегодня?» Как маленькая девочка, играющая во взрослую.

Или еще. Как-то в понедельник утром, когда воздух в помещении был пронзительно-холодным, Генри, совершая ритуал открытия аптеки, спросил:

– Ну как вы провели выходные, Дениз?

Накануне Оливия отказалась пойти с ним в церковь, и Генри, что было для него совершенно нетипично, резко заговорил с ней. «Неужели я слишком много прошу? – вдруг услышал он собственный голос, когда стоял на кухне, глядя себе брюки. – Всего лишь чтобы жена пошла вместе с мужем в церковь». Идти в церковь без нее, как ему подумалось, означало бы публично признать, что их брак оказался неудачным.

«Да, разумеется, это чертовски много – просить меня пойти с тобой! – Оливия чуть не брызгала слюной, резко распахнув двери своей ярости. – Ты себе просто не представляешь, до чего я устала: целый день преподаю в школе, сижу на всяких дурацких собраниях, где вынуждена слушать этого чертова идиота директора! Хожу по магазинам. Готовлю. Стираю. Глажу. Делаю уроки с Кристофером! А *ты*... – Оливия схватилась руками за спинку столового стула, а ее темные волосы, спутавшиеся, еще не причесанные после сна, упали ей на глаза, – *ты*, мистер Главный Молельщик, Славный Малый Напоказ, надеешься, что я навсегда откажусь от своего личного воскресного утра и отправлюсь сидеть среди этих зазнавшихся ничтожеств?!» Оливия вдруг резко опустилась на стул. «Мне все это до смерти надоело, – закончила она. – До смерти».

Генри заливала тьма, душа его захлебывалась в

потоках дегтя. Однако утром следующего дня Оливия заговорила с ним как ни в чем не бывало: «На прошлой неделе в машине Джима воняло, будто кого-то там вырвало. Надеюсь, он ее успел вычистить». Джим О'Кейси преподавал в одной с Оливией школе и из года в год отвозил туда и ее, и Кристофера.

Генри откликнулся: «Надеюсь». И таким образом с их ссорой было покончено.

– О, я замечательно провела выходные, – ответила Дениз, ее маленькие глазки глядели на него сквозь очки с такой детской радостью, что его сердце готово было разорваться надвое. – Мы поехали к родителям Генри и ночью копали картошку. Генри включил фары машины, так что мы могли копать. Находили картофелины в холодной земле – все равно как на Пасху яйца запрятанные искать!

Генри бросил распаковывать доставленный пенициллин и подошел ближе поговорить с Дениз. Покупателей еще не было, под витринным окном шипел радиатор. Генри сказал:

– Это чудесно, Дениз, правда?

Она кивнула и взялась рукой за верх полки с витаминами. На лице ее вдруг мелькнул страх.

– Я замерзла, – сказала она, – пошла посидеть в машине и стала смотреть, как Генри копает картошку. И подумала: это слишком хорошо, чтобы быть прав-

дой.

А Генри задал себе вопрос: что же могло случиться в ее такой еще недолгой жизни, что мешает ей поверить в счастье? Может быть, болезнь ее матери? И произнес:

– Так наслаждайтесь этим, Дениз. У вас впереди еще много лет счастья.

А может быть, предположил он, возвращаясь к ящикам с лекарствами, дело отчасти в том, что она католичка, – это заставляет людей чувствовать свою вину за все, что происходит.

Последовавший за этим год... Не был ли он самым счастливым годом в его жизни? Ему часто думалось именно так, хотя он понимал, что глупо заявлять такое про какой бы то ни было год собственного существования. Но в его воспоминаниях именно этот год нес в себе сладость времени, не наводящего тебя ни на мысли о начале, ни на мысли о конце, и, когда Генри ехал в аптеку во мгле раннего зимнего утра, а потом – в чуть брезжущем свете весенней зари и в раскрывающемся перед ним полнозвучном цветении лета, тихая радость от простых мелочей его работы, казалось, переполняет его до краев. Когда Генри Тибодо въезжал на усыпанный гравием двор позади аптеки, Генри Киттеридж выходил, чтобы придержать для

Дениз дверь, и кричал ему: «Привет, Генри!» – а Генри Тибодо высовывал голову в окно машины и с широкой улыбкой кричал в ответ: «Привет, Генри!»; лицо его при этом светилось веселой искренностью. Иногда приветствие ограничивалось одним возгласом: «Генри!» И другой Генри отвечал ему так же: «Генри!» Оба получали от этого огромное удовольствие, а Дениз, словно перекидываемый двумя мужчинами футбольный мяч, поспешно влетала в аптеку.

Когда она снимала варежки, ее руки выглядели худыми и маленькими, как у ребенка, однако, когда она касалась пальцами клавиш кассового аппарата или вкладывала что-то в белый аптечный пакет, они обретали движения и форму, свойственные изящной взрослой женщине. Такие руки, думалось Генри, могут любовно касаться мужа, они со временем станут пеленать ребенка, гладить горячий от жара лоб, подкладывать под подушку подарок от феи «на зубок».

Наблюдая за Дениз, подталкивающей очки повыше на носу, чтобы удобнее было просматривать список имеющихся товаров, Генри думал, что эта маленькая женщина – суть и опора Америки, потому что как раз в то время начались все эти дела с хиппи, да к тому же Генри читал в «Ньюсуик» про марихуану и про свободную любовь, что вызывало у него чувство беспокойства, которое рассеивалось при одном взгляде на

Дениз. «Мы катимся ко всем чертям, как древние римляне, – торжествующе утверждала Оливия. – Америка – огромный круг сыра, подгнивший изнутри». Однако Генри не утрачивал веры, что воздержанность возторжествует, тем более что в своей аптеке он каждый день работал рядом с молодой женщиной, чьей главной мечтой было создать вместе с мужем большую семью. «Меня не интересует феминистское движение за равноправие женщин, – говорила она Генри. – Я хочу, чтобы у нас был дом, я хочу стелить постели». И все же, если бы у него была дочь (он просто обожал бы дочь!), он предостерег бы ее от такого выбора. Он сказал бы ей: это замечательно – стели постели, но найди возможность и головой работать. Однако Дениз не была ему дочерью, так что ей он сказал, что создание домашнего очага – благородное дело, смутно сознавая при этом ту степень свободы, которую дает привязанность, не рожденная кровными узами.

Генри нравилось простодушие Дениз, нравилась чистота ее мечтаний, но это ни в коем случае не означало, что он был в нее влюблен. На самом деле природная сдержанность Дениз заставляла его желать Оливию с какой-то новой страстью, мощной волной поднимавшейся в нем. Манера Оливии резко высказывать свое мнение, ее полные груди, бурные вспышки ее гнева и неожиданный грудной смех открывали

ему новые горизонты рвущего сердце эротизма, и порой, когда он в темноте ночи приподнимался и опускался в супружеской постели, на ум ему приходила вовсе не Дениз, но, странным образом, ее муж, молодой и сильный, неистовость юноши, дающего волю необузданной плотскости обладания... И тогда Генри Киттериджа охватывало безумное возбуждение, словно, любя свою жену, он сливался воедино со всеми мужчинами мира в любви к миру женщин, каждая из которых хранит глубоко в себе неразгаданную вековую тайну земли.

«О боже мой!» – произносила Оливия, когда он оставлял ее в покое.

В колледже Генри Тибодо играл в футбол, точно так же как и Генри Киттеридж.

– Правда ведь, здорово было? – как-то раз спросил его молодой Генри. Он рано приехал за Дениз и зашел в аптеку. – Слышать, как люди кричат тебе с трибун? Видеть, что мяч летит прямо к тебе, и понимать, что вот сейчас ты его схватишь? Ох и любил же я все это! – Он широко улыбнулся, его ясное лицо словно отражало свет дня. – Ох и любил!

– Боюсь, мне до вас было ой как далеко, – ответил ему Генри Киттеридж.

Он хорошо бегал, прекрасно умел увертываться

с мячом, уклоняться от удара, но ему не доставало агрессивности, чтобы быть по-настоящему хорошим игроком. Ему теперь неловко вспоминать, что перед каждой игрой он испытывал чувство страха. Он даже обрадовался, когда его оценки резко пошли вниз и пришлось оставить футбол.

– Да я не такой уж хороший игрок был, – утешил его Генри Тибодо, потирая голову большой ладонью. – Просто мне это нравилось.

– Он хорошо играл, – сказала Дениз, надевая пальто. – Капитаны болельщиков даже ободрялку специальную для него придумали. – Застенчиво, но с гордостью она произнесла: – «О-го-го, Тибодо, о-го-го!»

Направляясь к двери, Генри Тибодо обернулся.

– Послушайте, – сказал он. – Мы собираемся пригласить вас с Оливией к нам на обед.

– Ну, знаете... Не надо вам беспокоиться.

Дениз тогда написала Оливии записку, благодаря за ужин, мелким аккуратным почерком. Оливия просмотрела записку, подтолкнула ее по столу поближе к Генри.

– Почерк такой же осторожный, как она сама, – заметила она. – Она самая непривлекательная девочка из всех, кого я в жизни видела. Такая бесцветная – зачем же она носит серое и беж?

– Не знаю.

Генри не стал возражать, будто и сам задавался этим вопросом. Но он этим вопросом не задавался.

– Простушка, – заявила Оливия.

Однако Дениз вовсе не была простушкой. Она прекрасно считала, и она запоминала все, что говорил ей Генри о фармацевтических препаратах, которые продавались в его аптеке. В университете она специализировалась по зоологии и была вполне осведомлена о молекулярных структурах. Иногда, во время перерыва, она оставалась сидеть на ящике в задней комнате с мерковским учебником¹ на коленях. Ее детское личико, серьезность которому придавали большие очки, внимательно вглядывалось в страницу, острые коленки были высоко подняты, плечи наклонены вперед.

«Прелесть!» – мелькало у Генри в голове, когда он, проходя мимо, заглядывал в открытую дверь. Он мог тогда спросить: «У вас все в порядке, Дениз?» И она отвечала: «О да, у меня все просто замечательно». Генри улыбался. Его улыбка не исчезала и тогда, когда он устанавливал в шкафу флаконы, печатал ярлыки, выписывал сигнатурки. Характер Дениз сочетался

¹ Мерковский учебник (Merck Manuel of Diagnostics and Therapy) – учебник по диагностике и терапии издательского дома «Мерк», специализирующегося на издании медицинской литературы и справочников. (Здесь и далее примеч. перев.)

с его характером так же легко, как аспирин сочетается с энзимом СОХ-2: Генри проживал каждый свой день без боли. Мирное шипение радиатора, звон колокольчика, когда кто-то входит в дверь аптеки, поскрипывание деревянных половиц, позвякивание кассового аппарата. В те дни ему порой приходило в голову, что его аптека подобна здоровой автономной нервной системе в спокойном рабочем состоянии.

Зато вечерами его заливал адреналин.

– Все, чем я тут занимаюсь, – это готовлю, убираю и подбираю за всеми и каждым! – порой кричала Оливия, с грохотом ставя перед ним тарелку мясного жаркого. – Все только и ждут, чтобы я их обслужила, только и смотрят, а сами и пальцем не шевельнут.

От тревоги у Генри покалывало руки – от пальцев до самых плеч.

– Наверное, тебе стоит побольше помогать маме по дому, – сказал он Кристоферу.

– Как ты смеешь указывать ему, что ему надо делать? Ты даже не уделяешь ему внимания хотя бы настолько, чтобы поинтересоваться тем, что ему приходится переносить на занятиях по социальным наукам! – Оливия выкрикнула эти слова очень громко, но Кристофер хранил молчание, хотя на губах его играла самодовольная ухмылка. – Даже от Джима О'Кейси мальчик видит больше сочувствия, чем от тебя, – за-

ключила Оливия, с силой шлепнув о стол салфеткой.

– Джим работает в той же школе, только незачем кричать, и он видит вас с Крисом каждый день. А в чем там дело с социальными науками?

– Только в том, что там учитель – идиот, и Джим это интуитивно чувствует, – парировала Оливия. – А ты, кстати, тоже видишь Кристофера каждый день. Только ты ничего не знаешь, потому что укрылся в своем крохотном мирке с этой мышкой-дурнушкой.

– Она прекрасный работник, – ответил Генри.

Однако по утрам мрачное настроение Оливии обычно рассеивалось, и Генри мог отправляться на работу с возродившейся надеждой, которая прошлым вечером казалась безвозвратно истаявшей. В аптеке же царило полное доброжелательство к мужчинам.

Дениз спросила Джерри Маккарти, не собирается ли он поступить в университетский колледж. «Не знаю, – ответил тот. – Не думаю». Лицо парня залила краска. Возможно, он малость неравнодушен к Дениз или чувствует себя ребенком в ее присутствии – толсторуким и толстопузым мальчишкой, все еще живущим с родителями.

«Пойди на вечернее отделение, – весело посоветовала Дениз, – можно записаться сразу после Рождества. Пройди хотя бы один семестр. Тебе надо это сделать». Дениз кивнула Джерри и взглянула на Ген-

ри, который тоже ему кивнул.

«Дениз права, Джерри, – сказал Генри, никогда все-ръем не думавший об этом мальчишке. – Что, собственно, тебя интересует?»

Тот пожал толстыми плечами.

«Но что-то же должно казаться тебе интересным?»

«Да вот это все». Джерри указал на ящики с таблетками, которые недавно сам внес в аптеку через черный ход.

И он, как ни поразительно, поступил на вечернее отделение, выбрав себе курс естественных наук, а когда весной получил круглые пятерки, Дениз сказала ему: «Никуда не уходи!» Она скоро вернулась из магазина с небольшим тортом в коробке и произнесла: «Генри, если никто нам не позвонит, мы устроим праздник». Запихивая в рот куски торта, Джерри рассказал Дениз, что в воскресенье перед экзаменом пошел на мессу и молился о том, чтобы все сдать как следует.

Такие вещи всегда поражали Генри, когда он думал о католиках. Он чуть было не сказал: «Это не Господь получил за тебя пятерки, Джерри, ты сам их заработал». Но Дениз уже спрашивала: «Ты посещаешь храм каждое воскресенье?»

Мальчишка смутился, принялся слизывать глазировку с пальцев. «Теперь буду», – пообещал он. Де-

низ рассмеялась, с ней вместе засмеялся и Джерри. Лицо его покраснелось и блестело.

Сейчас тоже осень, но прошло так много лет, что в это воскресное утро, проведя по волосам расческой, Генри, прежде чем убрать ее в карман, вытаскивает из ее черных пластмассовых зубцов несколько седых волосков. Перед уходом в церковь он разжигает в печи огонь для Оливии. «Не забудь принести домой сплетни», – говорит ему жена, плотнее натягивая свитер и заглядывая в кастрюлю, где, булькая, тушатся яблоки: Оливия готовит яблочный соус из последних осенних плодов. Их аромат на миг обволакивает Генри – сладкий и такой знакомый, он пробуждает в нем какое-то давнее томление... и он выходит из дому в своем твидовом костюме и при галстуке. «Постараюсь», – обещает он Оливии. Кажется, теперь никто уже не ходит в церковь в костюме.

На самом деле церковь теперь регулярно посещает лишь горстка прихожан. Это печалит Генри, это его беспокоит. За последние пять лет в храме сменилось два священника, ни тот ни другой не принесли с собой на церковную кафедру особого душевного подъема. А теперешний – мужчина с бородой – и рясу не носит. Генри подозревает, что и этот долго здесь не удержится. Он молод, у него большая семья, ему на-

до делать карьеру. Малое число прихожан в церкви особенно беспокоит Генри потому, что он опасается, не чувствуют ли и остальные того, что он так старательно пытается от себя отогнать, – эти еженедельные собрания больше не дают им познать истинное утешение. Когда они склоняют головы в молитве или поют псалом, больше не возникает ощущения, во всяком случае у Генри, что их благословляет присутствие Господне. Даже Оливия и та превратилась в нераскаянную атеистку. Он не знает, когда это произошло. Все было иначе, когда они только поженились; они говорили об анатомировании животных на уроках биологии в их колледже, рассуждая о том, что одна лишь респираторная система – сама по себе чудо, *творение* чудесной силы.

Генри ведет машину по немощеной проселочной дороге, сворачивает на мощеную, которая выведет его в город. На обнаженных ветвях кленов осталось совсем немного густо-красных листьев; на дубах листья сморщились и порыжели; ненадолго сквозь деревья проглядывает залив; сегодня он плоский и серо-стальной под затянутым тучами ноябрьским небом.

Генри проезжает мимо того места, где когда-то стояла его аптека. Теперь здесь – большой аптекарский магазин известной фирмы, с огромными стеклянными

ми раздвижными дверями, он занимает всю ту территорию, где стояли и старая аптека, и продовольственный магазин. Он такой большой, что даже стоянка на заднем дворе, где, бывало, Генри задерживался в конце дня, разговаривая с Дениз у мусорных баков, прежде чем оба они усаживались каждый в свою машину, – их стоянка занята этим магазином, который продает не только лекарства и аптекарские товары, но и огромные рулоны бумажных полотенец и коробки пластиковых мешков любых размеров – для мусора. Там и тарелки и кружки можно купить, шпатели, кошачью еду. Деревья, что росли рядом с домом, срубили – освободили место для парковки. И Генри думает: привыкаешь к каким-то вещам, даже к этим вещам не привыкая.

Кажется, столько лет прошло с тех пор, как Дениз стояла здесь во дворе, дрожа от холода, прежде чем сесть в машину. Какой молоденькой она была тогда! Как больно вспоминать выражение недоумения на ее юном лице, и все же он припоминает, что умел вызвать у нее улыбку. А теперь, так далеко – в Техасе, – так далеко, что это все равно что другая страна, Дениз уже столько же лет, сколько тогда было ему самому. Она как-то вечером уронила красную варежку, он нагнулся и поднял ее, раскрыл обшлажок и смотрел, как она просовывает туда свою маленькую руку.

Белая церковь стоит рядом с обнажившимися кленами. Генри понимает, почему ему так остро вспоминается Дениз. На прошлой неделе от нее не пришла поздравительная открытка ко дню его рождения, а ведь он всегда, и всегда вовремя, вот уже двадцать лет получал от нее открытки. Вместе с открыткой она присылает ему записку. Иногда одна или две строки в записке выделяются, как, например, в прошлом году, когда она упомянула, что Пол, только что перешедший в среднюю школу, стал очень тучным. Это ее слово, она написала: «У Пола возникла серьезная проблема – при его трехстах фунтах² он стал тучным». Дениз не пишет, что она или ее муж собираются делать по этому поводу, если, вообще говоря, тут можно что-то «делать». Младшие девочки-двойняшки обе спортивные, им уже начинают звонить мальчишки, что, как пишет Дениз, «приводит меня в ужас». Она никогда не подписывает письма обычным «С любовью», просто пишет свое имя – мелким аккуратным почерком: «Дениз».

На усыпанной гравием стоянке перед церковью Дейзи Фостер только что вышла из машины. Ее губы раздвигаются в улыбке притворного удивления и радости, впрочем, радости как раз непритворной; Генри

² Фунт (мера веса) – 453,6 г. Пол весит ок. 136 кг.

уверен: Дейзи всегда рада его видеть. Ее муж умер два года назад; полицейский в отставке, докурившийся до смерти, он был на двадцать пять лет старше Дейзи: она остается всегда очаровательной, всегда доброжелательной, с добрыми голубыми глазами. Что с нею станет, Генри и представления не имеет. Генри думает, садясь на свое обычное место на скамье в среднем ряду, что женщины гораздо мужественнее мужчин. Сама вероятность того, что Оливия может умереть и оставить его в одиночестве, вызывает в его сознании мгновения такого ужаса, с которым он никак не может совладать.

И тут его мысли снова возвращаются к аптеке, которой больше нет.

– Генри в эти выходные на охоту собирается, – как-то ноябрьским утром сообщила ему Дениз. – А вы охотитесь, Генри? – Она закладывала деньги в кассовые ящички и не смотрела на него.

– Бывало, – ответил ей Генри. – Теперь уже слишком стар стал для этого.

В тот единственный раз, что ему случилось подстрелить лань, его стошнило, когда он увидел, как прелестное испуганное животное замотало вверх-вниз головой, прежде чем тонкие ножки лани подогнулись и она упала на усыпанную листвою землю. «Ну и

слабак же ты», – сказала тогда Оливия.

– Генри едет с Тони Кьюзио. – Дениз задвинула ящик кассового аппарата и обошла прилавок – поправить пачки мятных пастилок, освежающих дыхание, и жевательной резинки, аккуратно выложенные на передней полке. – Это его лучший друг с пятилетнего возраста.

– А что Тони сейчас делает?

– Тони женат, и малышей у них двое. Работает в энергетической компании «Мидкоуст пауэр» и с женой ругается. – Дениз взглянула на Генри поверх полки. – Не говорите Генри, что я вам про это сказала.

– Не скажу.

– Она всегда очень нервная, кричит. Ох, я ни за что не хотела бы так жить.

– Да уж, так жить просто невозможно.

Зазвонил телефон. Дениз повернулась на носках, словно танцуя, подошла и взяла трубку:

– Доброе утро. Это городская аптека. Чем могу помочь?

Пауза.

– О да, у нас имеются мультивитамины без железа. Приходите, пожалуйста, мы вас ждем.

В обеденный перерыв Дениз рассказывала здоровенному, с детским лицом Джерри:

– Мой муж, когда мы с ним еще только встречались

и куда-нибудь ходили, постоянно говорил мне про Тони. Про их ссоры, когда они были мальчишками. Как-то они ушли из дому и не успели до темноты вернуться, и мать Тони ему сказала: «Я так волновалась, Тони! Я могла бы тебя убить!» – Дениз сняла ниточку с рукава своего серого свитера. – А я всегда считала это странным. Волноваться, что твой ребенок, может быть, погиб, а потом говорить, что ты его убила бы.

– Погодите-погодите, – сказал на это Генри, обходя ящики и коробки, которые Джерри внес в заднюю комнату. – С самого первого подскока температуры у ребенка вы уже никогда не перестанете волноваться.

– Ой, не могу дождаться! – откликнулась Дениз.

Генри впервые пришла в голову мысль, что скоро у нее пойдут дети и она больше не будет у него работать.

Неожиданно заговорил Джерри:

– А вам он нравится? Тони? У вас отношения хорошие?

– Он мне нравится, – ответила Дениз. – Слава богу. Я ужасно боялась с ним знакомиться. А у тебя есть лучший друг детства?

– Думаю, да, – сказал Джерри, и его гладкие щеки залил румянец. – Только теперь мы вроде как пошли каждый своим путем.

– А моя лучшая подруга, – продолжала разговор Де-

низ, – когда мы перешли в среднюю школу, вроде как беспутной стала. Хочешь еще содовой?

Суббота дома. Ланч: сэндвичи с крабовым мясом, запеченные с сыром. Кристофер уже поднес ко рту кусок, когда зазвонил телефон и Оливия пошла взять трубку. Кристофер, хотя его никто об этом не просил, не стал есть и застыл с сэндвичем в руке. Казалось, в сознании Генри отпечатался этот момент: инстинктивное уважительное внимание сына в то самое время, как послышался голос Оливии из соседней комнаты. «Ах, бедная девочка, – произнесла она голосом, которого Генри никогда не забудет, – столько в нем было смятения и тревоги, что вся ее внешняя «оливщина» исчезла, слетела как шелуха. – Ах вы, бедная, бедная моя девочка!»

И тут Генри встал из-за стола и вошел в ту комнату; он не очень много помнит, только тоненький голосок Дениз, а потом – несколько минут разговора с ее свекром.

Отпевание проходило в храме Святой Богородицы Сокрушения, в родном городе Генри Тибодо, в трех часах езды от них. Храм был большой, с витражными окнами, священник у алтаря – в белом многослойном облачении – помахивал кадиллом, в котором курился ладан. К тому времени, как приехали Оливия и Генри, Дениз уже сидела рядом с сестрами на передней ска-

мье. Гроб был закрыт, как и накануне, во время бдения у гроба³. Храм оказался почти целиком заполнен людьми. Генри с Оливией сели в одном из последних рядов; он не видел кругом знакомых лиц, пока чья-то огромная молчаливая фигура, смутно обрисовывавшаяся рядом, не заставила его поднять глаза. Перед ними стоял Джерри Маккарти. Оливия и Генри подвинулись на скамье, давая ему место.

Джерри прошептал: «Я прочел про это в газете», и Генри на миг положил ладонь на толстое колено парня.

Заупокойная служба все длилась и длилась; читались тексты из Библии, потом еще другие тексты, затем началась сложная подготовка к причастию. Священник доставал скатерти, разворачивал их, драпировал ими стол, а затем люди стали подниматься со своих мест, подходили к нему – ряд за рядом, опускались на колени и открывали рот, чтобы он положил туда облатку, и каждый отхлебывал вино из одного и того же большого серебряного кубка; Генри с Оливией оставались на своей скамье. Несмотря на охватившее его чувство нереальности происходящего, Генри поразила негигиеничность процедуры – ведь все эти люди отхлебывали вино из общей чашки, – а потом он с наименьшим удивлением и с некоторой долей ци-

³ Бдение у гроба – поминки, устраиваемые перед похоронами.

низма отметил, что, когда все прихожане отхлебнули каждый свою порцию, священник, запрокинув клювастую голову, допил оставшиеся в кубке капли.

Шестеро молодых мужчин понесли закрытый гроб по центральному проходу храма. Оливия ткнула Генри локтем в бок. Он кивнул. Один из несших гроб – один из последних – был так бледен и шел с таким потрясенным лицом, что Генри испугался, как бы тот не уронил свою ношу. Это был Тони Кьюзио: несколько дней тому назад, во мгле раннего утра, он принял Генри Тибодо за оленя, спустил курок и убил своего лучшего друга.

Кто мог прийти ей на помощь? Ее отец жил далеко, на севере Вермонта, с ее тяжелобольной матерью; братья с женами – в нескольких часах езды от нее, родители мужа были буквально парализованы горем. Она прожила у них две недели, а когда вернулась на работу, объяснила Генри, что не смогла дольше с ними оставаться: они были добры к ней, но у Дениз больше не было сил слышать, как всю ночь рыдает свекровь. «У меня просто руки-ноги трястись начинали», – сказала она. Ей необходимо было остаться одной, чтобы самой выплакаться. «Конечно, Дениз», – ответил ей Генри. «Но я не могу вернуться в наш трейлер». – «Конечно».

В ту ночь Генри сидел в постели, уперев подбородок в ладони.

– Оливия, – произнес он, – девочка совершенно беспомощна. Слушай, она даже машину водить не умеет и никогда в жизни не выписывала чеков.

– Как это может быть, – удивилась Оливия, – чтобы человек вырос в Вермонте и даже не умел водить машину?

– Непонятно, – признал Генри. – Я и представления не имел, что она водить не умеет.

– Знаешь, я теперь понимаю, почему Генри на ней женился. Сначала не разобралась. А потом, когда его мать на похоронах увидела... Ох, бедняжка! Но в ней, как мне показалось, ни женской привлекательности, ни живости какой-то просто нет ни на грош.

– Ну, она же почти совсем сломлена горем.

– Это-то я понимаю, – без раздражения откликнулась Оливия, – я просто хочу, чтобы ты понял, что Генри женился на своей матери. С мужчинами такое бывает. – И после паузы: – Ты – исключение.

– Дениз необходимо научиться водить машину, – сказал Генри. – Первым делом. И ей надо где-то жить.

– Запиши ее в автошколу.

Однако вместо этого он повез Дениз на своей машине по немощеным проселочным дорогам. Снега выпало уже довольно много, но на дорогах, ведущих

вниз, к заливу, рыбацкие грузовики умяли снег.

– Вот так. Медленно-медленно выжимайте сцепление.

Машина взбрыкнула, словно дикая лошадь. Генри уперся рукой в приборную панель.

– Ой, простите, – прошептала Дениз.

– Ничего-ничего. У вас хорошо получается.

– Я просто боюсь. Ой, боже!

– Просто она совсем новая. Но, Дениз, любой кретин способен водить машину.

Она взглянула на Генри, и вдруг с ее губ сорвался смешок; он тоже рассмеялся, сам того не желая, а ее смех разрастался, сотрясая ее так, что из глаз брызнули слезы, и ей пришлось остановить машину и взять у Генри предложенный им белоснежный платок. Дениз сняла очки, а он смотрел в окно в противоположную сторону, чтобы она могла спокойно воспользоваться его платком. Снег сделал лес по обеим сторонам дороги похожим на картину в черно-белых тонах. Даже вечнозеленые кроны казались темными, простирая ветви над черными стволами.

– Ну ладно, – сказала Дениз и снова нажала на стартер.

Генри снова швырнуло вперед. Если она спалит сцепление, Оливия устроит бурю.

– Это абсолютно нормально, – утешил он Дениз. –

Совершенство дается практикой, только и всего.

Через несколько недель Генри повез ее в Огасту, где она сдала экзамен по автовождению, а потом отправился вместе с ней покупать машину. Деньги на это у Дениз были. Как оказалось, Генри Тибодо в свое время заключил выгодный договор страхования жизни, так что ей осталось хотя бы это. А теперь Генри Киттеридж помог ей застраховать машину, объяснил, как совершать платежи. Еще до этого он повел Дениз в банк, и впервые в жизни у нее появился собственный банковский счет. И Генри показал ей, как выписывать чек.

Он пришел в ужас, когда как-то на работе Дениз упомянула, сколько денег она послала в храм Святой Богородицы Сокрушения, чтобы там каждую неделю возжигали свечи и каждый месяц читали мессу в память ее Генри. Но сказал: «Ну что ж, это хорошо, Дениз». Она похудела, ее круглые щеки ввалились, и как-то, когда в конце дня он стоял в вечерней тьме на стоянке за аптекой и при свете фонаря на углу дома смотрел, как она села в машину, его поразило вид ее напряженного лица, вглядывавшегося вперед, поверх руля. Когда он сам садился в свою машину, его сотрясала такая печаль, что он не мог избавиться от нее до утра.

– Что с тобой происходит, черт возьми? – спросила

Оливия.

– Дениз, – ответил он. – Она совершенно беспомощна.

– Люди никогда не бывают такими беспомощными, какими кажутся, – заметила Оливия. И добавила, хлопнув крышку на кастрюлю, стоявшую на плите: – Господи, этого-то я и боялась.

– Чего боялась?

– Послушай, выведи ты эту чертову собаку во двор! А сам садись ужинать.

Для Дениз нашли квартиру в небольшом новом жилом комплексе за городом. Свекор и Генри помогли ей перевезти немногочисленные вещи. Квартира находилась на первом этаже и оказалась не очень светлой. «Зато здесь чисто», – сказал Генри, глядя, как Дениз открывает дверцу холодильника и рассматривает его новое, совершенно пустое нутро. Она лишь молча кивнула в ответ, закрывая дверцу. Потом тихо произнесла: «Я раньше никогда не жила одна».

На работе Генри замечал, что Дениз ходит по аптеке, словно в нереальности; он чувствовал, что и его жизнь становится невыносимой, чего он никак не мог ожидать. Сила этого чувства была необъяснима, бессмысленна. Но оно его тревожило, оно было чревато ошибками. Он забывал сказать Клиффу Мотту, что ему обязательно надо съесть банан, чтобы восста-

новить калий, раз теперь к дигиталису ему добавили мочегонное. А одна женщина, Тиббетс, плохо спала ночью после эритромицина: неужели он не предупредил ее, что лекарство надо принимать во время еды? Он работал медленно, порой пересчитывая таблетки по два-три раза, прежде чем положить их во флаконы, перепроверял рецепты и сигнатурки, которые печатал. А дома, когда Оливия что-то ему говорила, он смотрел на нее широко раскрытыми глазами, чтобы показать, что она полностью владеет его вниманием. Но она никак не владела его вниманием. Оливия стала пугающе чужой. Ему часто казалось, что его сын Кристофер насмешливо ухмыляется ему вслед. Как-то вечером, открыв шкафчик под мойкой и увидев, что мешок для мусора полон яичной скорлупы, комков собачьей шерсти и скомканной воценой бумаги, Генри крикнул мальчишке: «А ну-ка, вынеси мусор! Это единственное, что мы просим тебя дома делать, а ты даже с этим не справляешься!» – «Перестань орать! – сказала Оливия. – Ты что, думаешь, это делает тебя мужчиной? Какие жалкие потуги!»

Пришла весна, дни удлинились, растопив оставшийся снег, так что дороги стали мокрыми. Расцвела форзиция, желтыми облаками вторгаясь в холодный воздух, а потом и красноголовые рододендроны решительно заявили миру о своем появлении. Генри

смотрел на окружающее глазами Дениз и воспринимал красоту как оскорбление. Проезжая мимо фермы Колдуэллов, он обратил внимание на рукописное объявление: «КОТЯТА БЕСПЛАТНО» – и на следующий день приехал в аптеку с кошачьим туалетом, кормом для кошек и маленьким черным котенком, чьи лапки внизу были совсем белыми, словно он только что прошелся по тарелке со взбитыми сливками.

«Ох, Генри!» – воскликнула Дениз, беря у него из рук котенка и прижимая к груди.

Генри был невероятно доволен.

Котенок, Слипперс⁴, был очень мал и целый день проводил в аптеке. Джерри Маккарти приходилось держать его в огромной ладони, прижимая к промокнутой от пота рубашке, и говорить Дениз: «Ух, ну да, ужасный миляга. Такой славный», пока она не освобождала его от этой крохотной пушистой обузы, забирая котенка и поднося к своему лицу его мордочку на глазах у Джерри, наблюдающего за ней, чуть раздвинув толстые блестящие губы. Джерри прошел еще два семестра в университете, снова окончив каждый с круглыми пятерками. Генри и Дениз поздравили его с видом рассеянных родителей, на этот раз без всякого торта.

Порой у Дениз случались приступы маниакальной

⁴ Слипперс (*англ.* slippers) – тапочки.

говорливости, за которыми следовали дни полного молчания. Время от времени она выходила из аптеки через черный ход и возвращалась с опухшими глазами. «Если хотите, уйдите сегодня пораньше, побудьте дома», – говорил ей Генри. Но она бросала на него испуганный взгляд. «Нет-нет, – в панике отвечала она. – Ох, господи, нет! Мне тут хочется быть».

Лето в тот год выдалось жарким. Он помнил, как Дениз стояла под вентилятором у окна, ее тонкие волосы легкими волнами струились у нее за спиной, а она неотрывно вглядывалась сквозь очки в подоконник. Минуты шли, а она все стояла. На одну неделю она уехала повидать брата. Потом взяла неделю – повидаться с родителями. И сказала, вернувшись: «Мне тут хочется быть».

– Где же она себе нового мужа найдет в этом крохотном городке? – спрашивала Оливия.

– Не знаю, – отвечал Генри. – Сам задаюсь этим вопросом.

– Другая на ее месте уехала бы, вступила бы в Иностранный легион, но это не для нее.

– Нет, это не для нее.

Пришла осень, вселявшая в него ужас. В годовщину смерти Генри Тибодо Дениз поехала с его родителями на мессу. Генри Киттеридж вздохнул с облегчением, когда тот день закончился, когда миновала од-

на неделя и другая, но, хотя приближались зимние каникулы, его все равно мучило беспокойство, будто он нес что-то такое, что нельзя было никуда поставить.

И когда, как-то вечером, дома зазвонил телефон, Генри пошел снять трубку с тяжким предчувствием беды. Он услышал тонкий голосок и всхлипывания – точно повизгивания – Дениз: Слипперс каким-то образом выскочил из дому, а она не заметила и только что, выезжая в магазин за продуктами, задавила котенка.

– Отправляйся к ней, – сказала Оливия. – Ради всего святого! Поезжай, утешь свою возлюбленную.

– Прекрати, Оливия! – ответил ей Генри. – Это ни к чему. Она просто молоденькая вдова, случайно задавившая любимого котенка. Господи, неужели у тебя нет ни капли сочувствия? – Его била дрожь.

– Никакого черта она бы не задавила, если бы ты ей этого котенка не преподнес!

Он взял с собой валиум. Весь вечер он, беспомощный, просидел рядом с рыдавшей Дениз на диване. Он жаждал обвить руками ее худенькие плечи, но сидел, сжав ладони на коленях. На кухонном столе горела небольшая лампа. Дениз сморкалась в его белоснежный платок и говорила: «Ох, Генри, Генри!» А он не мог понять, какого именно Генри она имеет в виду. Она подняла голову и взглянула на него. Ее маленькие глазки почти совсем скрылись в опухших веках:

она сняла очки, чтобы прижать к глазам его платок. «Я с вами все время в мыслях разговариваю, – сказала она, надевая очки. И прошептала: – Простите, пожалуйста». – «За что?» – «Что все время в мыслях с вами разговариваю». – «Ну что вы!»

Генри уложил ее спать, как ребенка. Она послушно отправилась в ванную, переоделась в пижаму и улеглась в постель, натянув одеяло до подбородка. Он сел на край кровати и гладил ее по голове, пока валиум не возымел свое действие. Веки ее опустились, она повернула голову набок и пробормотала что-то, чего Генри не смог разобрать. Когда он медленно ехал домой по узким дорогам, тьма, тяжело прикивавшая к окнам, казалась ему живой и зловещей. Он представлял себе, как переезжает подальше, на северную окраину штата, и живет в маленьком доме вместе с Дениз. Он мог бы найти работу где-нибудь там, на севере, Дениз могла бы родить ребенка. Крохотную девочку, которая его обожала бы: девочки обожают своих отцов.

– Ну что, утешитель вдов, как она там? – услышал он в темноте спальни голос Оливии.

– Борется, – ответил он.

– А кто нет?

На следующее утро они с Дениз работали в молчании, полном душевной близости. Когда она стояла у

кассы, а он на своем месте в конце зала, он все равно ощущал ее невидимое теплое присутствие рядом, будто она обратилась котенком или он сам – Слипперс: их души соприкасались друг с другом. В конце дня Генри сказал: «Я буду заботиться о вас». Голос у него был хриплым от переполнявших его чувств. Дениз остановилась перед ним и кивнула. Он задержал молнию на ее пальто.

До сего дня он так и не понимает, о чем тогда думал. На самом деле многого он, как ему кажется, не может припомнить. Помнит, что Тони Кьюзио несколько раз приходил к Дениз. Что она говорила ему – Тони нельзя развестись, так как он все равно не сможет еще раз жениться церковным браком. Помнит жгучие уколы ревности и гнева, когда он представлял себе, как этот Тони сидит в маленькой квартирке Дениз поздним вечером, моля его простить. Чувство, что его затягивает серая паутина, липкие сети которой, крутясь, сплетаются вокруг него в лабиринт. Что ему хотелось, чтобы Дениз не переставала его любить. И она его любила. Он видел это в ее глазах, когда она уронила красную варежку, а он поднял ее, раскрыл и держал так, пока она просовывала туда руку. «Я с вами все время в мыслях разговариваю». Боль была острой, беспредельной, невыносимой.

«Дениз, – как-то вечером обратился он к ней, когда они закрывали аптеку, – вам нужно завести друзей».

Ее лицо залилось густой краской. Она надела пальто какими-то неожиданно резкими движениями. «У меня хватает друзей», – сказала она чуть слышно.

«Разумеется. Но здесь, в городе, вы могли бы ходить на бальные танцы в Грейндж-холл⁵. Мы с Оливией ходили. Там собираются вполне приятные люди. – (Она протиснулась мимо него, лицо ее блестело от пота, ее волосы – самая макушка – чуть не коснулись его глаз.) – Или, может быть, вы считаете, что все это слишком консервативно?» – неловко спросил он уже во дворе, на стоянке. «Я и сама консервативна», – тихо ответила она. «Да, – согласился Генри. – Я тоже».

Когда в вечерней мгле он ехал домой, он представлял себе, как ведет Дениз на танцы в Грейндж-холл. «Кружим партнершу, господа, а теперь променад...» Ее лицо расцветает улыбкой, ее ножка отбивает такт, ладони на бедрах. Нет, это было невыносимо, и Генри вдруг по-настоящему испугался вспышки гнева, которую он неожиданно вызвал у Дениз. Он ничего не мог для нее сделать. Не мог заключить ее в объятия, не мог поцеловать ее вспотевший лоб, спать рядом с ней, когда она надевает свою девчоночью фланеле-

⁵ Грейндж-холл (амер. Grange Hall) – клуб местной ассоциации фермеров.

вую пижаму, ту, в которой спала в ночь гибели Слип-перса. Покинуть Оливию было столь же немыслимо, как отпилить собственную ногу. Да и в любом случае Дениз не захочет взять в мужа разведенного протестанта, а он не сможет смириться с ее католицизмом.

Шли дни, Генри и Дениз все меньше говорили друг с другом. Теперь он постоянно ощущал идущую от нее неумолимую, обвиняющую холодность. Что же он сделал, на что заставил надеяться? И все-таки, если она упоминала о визите Тони Кьюзио или коротко сообщала, что смотрела фильм в Портленде, столь же обвиняющая холодность поднималась и в нем самом. Приходилось до боли стискивать зубы, чтобы не сказать: «Ах, так вы слишком консервативны, чтобы ходить на бальные танцы?» Противно было, что в голову ему приходит выражение «Милые бранятся – только тешатся».

А еще как-то, так же неожиданно, она сказала, якобы обращаясь к Джерри Маккарти, который в те дни стал слушать ее с какой-то совершенно новой манерой держаться, необычной для этого толстого, неуклюжего парня, – однако на самом деле адресовалась она к Генри (он хорошо понимал это по взглядам, которые она бросала на него, нервно сжимая руки): «Моя мама, когда я была совсем маленькой, еще до ее болезни, пекла особые булочки к Рождеству. Мы их укра-

шали глазировкой и цветной посыпкой. Ох, мне думается, это было для меня самое интересное в те времена...» Голос Дениз дрогнул, глаза за стеклами очков заморгали. И Генри подумал, что гибель ее мужа заставила ее почувствовать, что вместе с ним умерло и ее детство, что она горюет об утрате своего единственного «я», которое успела осознать, горюет о превращении в теперешнюю молодую, растерянную, сбитую с толку вдову. И его взгляд, встретившись с ее взглядом, смягчился.

Так, круговоротом циклов, шло время. Впервые в своей жизни Генри-фармацевт позволил себе принимать снотворное: каждый вечер, уходя домой, он прятал в карман брюк таблетку. «Все готово, Дениз?» – спрашивал он, когда наступало время закрывать аптеку. Она либо молча шла взять пальто, либо производила, ласково глядя на него: «Все готово, Генри. Вот и еще один день прошел».

Дейзи Фостер уже встала, чтобы петь псалом; она поворачивается лицом к Генри и улыбается. Он отвечает ей улыбкой и открывает псалтырь. «Бог – наша крепость, наш оплот, вовеки нерушимый». Эти слова и поющие их голоса не слишком многочисленных прихожан рождают в нем и надежду, и глубокую печаль. «Вы сможете научиться снова любить кого-то», – ска-

зал он Дениз, когда она подошла к нему в задней комнате аптеки в тот весенний день. Сейчас, опустив псалтырь в чехол на спинке сиденья перед собой и снова садясь на короткую скамью, он вспоминает другой день, тот, когда в последний раз виделся с Дениз. Они с ребенком приезжали на север повидать родителей Джерри и заехали к Киттериджам по дороге. Малыша звали Пол. И вот что запомнилось Генри: Джерри саркастическим тоном говорит о том, что Дениз каждый вечер засыпает на диване, а иногда так и спит там всю ночь. Дениз отворачивается, смотрит куда-то вдаль над заливом; ее плечи сутулятся, маленькие груди едва натягивают тонкую водолазку, но живот большой, будто кто-то разрезал пополам баскетбольный мяч и ей пришлось проглотить одну половинку. Это совсем не та девочка, какой она когда-то была, – никакая девочка не может навсегда остаться девочкой, – это мать, уже усталая, ее круглые щеки втянулись, а живот выпятился, у нее вид человека, придавленного непосильной тяжестью жизни. И тут Джерри резко произносит: «Дениз, встань прямо! Расправь плечи!»

И смотрит на Генри, качая головой. «Сколько раз мне приходится ей это повторять!»

«Давайте-ка мы вас рыбной похлебкой накормим, со свининой и овощами, – предлагает Генри. – Оливия

вчера вечером приготовила». Но им надо ехать дальше, и, когда они уезжают, он ни слова не говорит об их визите, да и Оливия, как ни удивительно, тоже молчит. Генри никогда бы не подумал, что взрослый Джерри станет таким, каким стал: крупный мужчина, опрятный и чистый на вид – явно стараниями Дениз, – даже уже не толстый, просто большой, с большой зарплатой, и разговаривает он с женой в той же манере, в какой Оливия порой разговаривает с Генри. С тех пор Генри больше не видел Дениз, хотя она, должно быть, приезжала в их края. В своих записочках, присылаемых с открытками ко дню его рождения, она сообщала о смерти матери, потом, несколькими годами позже, – о смерти отца. Она, несомненно, должна была приехать на похороны. Вспоминает ли она о нем? Заезжали ли они с Джерри на кладбище – навестить могилу Генри Тибодо?

– Вы выглядите цветущей и свежей, точно маргаритка, – говорит Генри, улыбаясь Дейзи Фостер, когда они выходят на парковку.

Это их привычная шутка⁶: он говорит ей эти слова уже много лет подряд.

– А как Оливия?

Глаза у Дейзи по-прежнему большие и красивые, всегдашняя улыбка никуда не исчезла.

⁶ *Дейзи* (англ. daisy) – маргаритка.

– Оливия – прекрасно. Ведет дом, поддерживает огонь в очаге. А что у вас нового?

– А у меня завелся поклонник. – Дейзи произносит это тихо, прикрыв рот рукой.

– Да неужели? Дейзи, это же замечательно!

– Он днем страховые полисы продает в Хитуике, а вечерами, по пятницам, водит меня на танцы.

– О, это просто чудесно! – снова радуется Генри. – Надо, чтобы вы с ним как-нибудь пришли к нам на ужин.

«Почему тебе обязательно нужно всех поженить? – сердито спросил его Кристофер, когда Генри как-то задал сыну вопрос о его личной жизни. – Почему бы тебе просто не оставить людей в покое? Может быть, они хотят остаться одни!»

Он не хочет, чтобы люди оставались одни.

Дома Оливия кивком указывает на столик, где рядом с африканской фиалкой лежит открытка от Дениз. «Пришла вчера, – говорит Оливия. – Я забыла».

Генри тяжело опускается на стул и открывает конверт самопиской; отыскивает очки, вглядывается в строчки. Записка длиннее, чем обычно. В последние дни лета Дениз очень испугалась. Экссудативный перикардит, но все обошлось. «Этот случай меня изменил, – писала она, – опыт ведь всегда изменяет че-

ловека. Он дал мне понять, что на самом деле важно, расставил по местам мои приоритеты. С тех пор я проживаю каждый свой день с глубочайшей благодарностью за то, что у меня есть семья, дети. Ничто не может быть важнее семьи и друзей, – написала она своим аккуратным мелким почерком. – А меня судьба благословила и теми и другими».

Впервые за все эти годы открытка была подписана «С любовью, Дениз».

– Ну как она? – спрашивает Оливия, пустив воду в раковину.

Генри смотрит в окно на залив, на худосочные ели, растущие у края бухты, и ему кажется, что все это очень красиво: величие Господне в спокойном величии берегов и чуть колеблющихся вод.

– Дениз – прекрасно, – отвечает он жене.

Не сразу, но чуть погодя он подойдет к Оливии и положит ладонь на ее руку повыше локтя. Оливия... Она тоже пережила горькие дни. Генри понял давно – после того как машина Джима О'Кейси сорвалась с дороги, а Оливия много недель подряд отправлялась в постель сразу после ужина и безутешно рыдала в подушку, – что Оливия любила Джима О'Кейси и он, вероятно, любил ее. Но Генри никогда не спрашивал об этом, а она никогда ничего не говорила, как и он не говорил ей о все углублявшейся, всепоглощающей, бо-

лезненной тяге к Дениз, длившейся до того дня, когда она пришла рассказать ему, что Джерри Маккарти просит ее выйти за него замуж. И он сказал: «Так выходите!»

Генри кладет открытку на подоконник. Он часто задумывался над тем, каково ей было писать «Дорогой Генри!», что она при этом чувствовала. Встречались ли ей другие Генри в прошедшие годы? Ему теперь не узнать. Не знает он и того, что случилось с Тони Кьюзио или зажигают ли все еще в церкви свечи в память Генри Тибодо.

Генри поднимается с места, мельком вспоминая улыбку Дейзи Фостер, рассказавшей ему, что ходит на танцы. Облегчение, которое он почувствовал, прочитав записку от Дениз о том, как она рада, что перед ней заново открывается жизнь, вдруг медленно и спокойно уступает место странному чувству утраты, будто у него отобрали что-то имевшее для него большое значение. И он произносит:

– Оливия?

Она, как видно, его не слышит, ведь в раковину льется вода. Оливия уже не такая высокая, как когда-то, и спина у нее стала пошире. Вода перестает литься.

– Оливия, – повторяет Генри, и она оборачивается. – Ты ведь не собираешься меня покинуть, правда?

– Ох, ради всего святого, Генри! Ты любую женщину до психушки способен довести! – Она поспешно хватается за полотенце и вытирает руки.

Генри кивает. Как мог бы он решиться сказать ей – нет, никогда! – что все те годы, пока он страдал от чувства вины из-за Дениз, его поддерживало сознание, что у него все же есть опора, есть она, Оливия? Он и сам не в силах вынести эту мысль, и через мгновение она исчезает, отогнанная прочь, будто это неправда. Ибо кто же способен вынести мысль о себе самом как о человеке, которого лишает мужества счастливая доля других? Нет, это просто абсурд какой-то.

– У Дейзи появился поклонник, – говорит он. – Надо их поскорее к нам пригласить.

Прилив

В заливе играли мелкие, в белых капюшонах волны, начинался прилив, так что слышно было, как перекачиваются подталкиваемые водой небольшие камни. Еще слышно было, как тросы побрякивают о мачты пришвартованных яхт. Несколько чаек издавали пронзительные крики, бросаясь из поднебесья вниз, за рыбьими головами, хвостами и сверкающими на солнце внутренностями, которые швырял с причала мальчишка, чистивший макрель. Все это Кевин наблюдал, сидя в машине с приоткрытыми окнами. Машину он припарковал на травянистом пяточке недалеко от марины – пристани для яхт. Чуть дальше, на гравийной площадке у пристани, стояли два грузовика.

Сколько прошло времени, Кевин не знал.

В какой-то момент сетчатая калитка марины с визгом отворилась и тут же захлопнулась, и Кевин смотрел, как какой-то человек, медленно переступая в резиновых сапогах, забрасывает тяжелый моток толстой веревки в кузов грузовика. Если тот и обратил на Кевина внимание, виду он не подал, даже когда сдавал грузовик задом и глядел в сторону Кевина. Да и почему бы они могли узнать друг друга? Кевин не бы-

вал в этом городе с самого детства – с тринадцати лет, – когда уехал отсюда вместе с отцом и братом. Он теперь здесь такой же чужак, как любой турист, но все же, пристально глядя на исполосованный солнцем залив, он не мог не почувствовать, как близко все это ему знакомо. Соленый воздух заполнял его ноздри, кусты дикой розы ругозы с уже распустившимися белыми цветами вызывали в нем легкое замешательство, – казалось, в их белых ласковых лепестках таится признание печального неведения.

Пэтти Хоу налила кофе в две белые кружки, поставила их на прилавок, сказала тихо: «Располагайтесь, пожалуйста», – и отошла разложить булочки, только что переданные через окошко из кухни. Она заметила человека, сидевшего в машине, – он сидел там уже более часа, – но с людьми такое порой бывало: приезжали из города просто на воду посмотреть. И все-таки что-то в этом человеке ее тревожило. «Они просто совершенство», – сказала она повару, потому что верхушки у булочек подрумянились и стали хрустящими по краям, булочки золотились, словно маленькие восходящие солнца. То, что запах этих свежеиспеченных булочек не вызвал у нее тошноты, как это случилось с ней дважды за прошедший год, ее опечалило, ее окутало мягкое марево уныния. Доктор сказал: «Три месяца об этом даже не помышляйте».

Сетчатая дверь открылась и со стуком захлопнулась. В широкое окно Пэтти видела, что тот человек все еще сидит в своей машине, глядя на воду, и, наливая кофе пожилой паре, медленно прошедшей в кабинку и расположившейся там, спрашивая их, как они себя чувствуют в это прекрасное утро, она вдруг поняла, кто такой этот человек в машине, и что-то произошло над нею, словно тень, промелькнувшая перед солнечным диском. «Ну вот, пожалуйста», – сказала она пожилой паре и больше в окно не смотрела.

«Слушай, да пусть лучше этот Кевин к нам домой приходит», – предложила мать Пэтти, когда сама Пэтти была еще так мала, что голова ее едва доставала до верха кухонной стойки. Но девочка затрясла головой: нет, нет, нет. Она не хотела, чтобы он приходил. Он ее пугал: в детском саду он так насасывал себе косячки пальцев, что там всегда оставался яркий багровый кружок кровоподтека, и его мать, высокая темноволосая женщина с низким, грудным голосом, тоже ее пугала. А теперь, выкладывая булочки на блюдо, Пэтти подумала, что мать ответила тогда на это элегантно, просто блестяще. Кевин стал приходиться к ним домой и терпеливо крутил веревку (другой ее конец был обмотан вокруг ствола дерева), а Пэтти неутомимо через эту веревку прыгала. По пути домой с работы Пэтти заглянет к матери. «Ты ни за что не догада-

ешься, кого я сегодня видела», – скажет она ей.

Мальчишка на причале поднялся на ноги, в одной руке он держал желтое ведро, в другой – нож. К нему бросилась чайка, и мальчишка взмахнул рукой, в которой был нож. Кевин видел, как мальчишка повернулся, чтобы взобраться на пандус, но навстречу ему к пристани спускался какой-то мужчина. «Сынок, нож в ведро положи!» – крикнул он. Мальчик послушался, аккуратно опустил нож в ведро, схватился за поручень и поднялся на пандус навстречу отцу. Он был еще настолько мал, что взялся за руку отца. Они вместе заглянули в ведро, потом забрались в грузовик и уехали.

Кевин, наблюдая эту сцену из машины, подумал: «Хорошо», имея в виду, что не испытал никаких эмоций, глядя на отца с сыном.

«У многих людей нет семьи, – сказал ему доктор Голдстайн, почесав седую бороду, затем, нисколько не смущаясь, стряхнул с груди то, что туда нападало. – Но у них все же есть дом». И он спокойно сложил руки на своем обширном животе.

По пути к марине Кевин проехал мимо того дома, где провел детство. Дорога по-прежнему оставалась немощеной, с глубокими колеями, но появилось несколько новых домов, отступивших глубоко в лес. Стволы деревьев должны были стать чуть ли не

вдвое толще в объёме, да, как видно, и стали, но лес показался ему таким же, каким он его помнил, – густым, запущенным, труднодоступным, и он мог разглядеть лишь неровный лоскут неба, когда ехал вверх по холму туда, где стоял их дом. Он убедился, что не ошибся дорогой, увидев рядом с домом красный сарай и, чуть поодаль, гранитную скалу, такую большую, что в детстве, взбираясь на нее в своих мальчижеских кедах, он считал ее настоящей горой. Скала по-прежнему стояла на месте... и дом тоже, хотя его подновили, пристроили застекленную веранду и убрали старую кухню. Еще бы! Кто же не захотел бы убрать эту старую кухню? Кевин почувствовал укол обиды, но это быстро прошло. Он сбавил ход, стал вглядываться – не найдет ли примет, говорящих, что в доме есть дети. Но не увидел ни велосипедов, ни качелей, ни детского домика на дереве, ни баскетбольного кольца – только висячая ваза с розовым бальзамом красовалась у входной двери.

Чувство облегчения пришло к нему странным ощущением где-то под ребрами, похожим на нежное колыбание воды у пологого берега при отливе – утешительное состояние покоя. На заднем сиденье машины лежало шерстяное одеяло, и Кевин все равно воспользуется им, хоть в доме и нет детей. Правда, сейчас им обернуто ружье, но, когда Кевин вернется (ско-

ро, пока еще длится это чувство облегчения, потихоньку умеряя внутреннюю пустоту, мучившую его во время долгого пути сюда), он уляжется на ковер сосновых игл и укроется одеялом. А если его найдет хозяин дома – ну и что из того? Или женщина, повесившая у двери розовый бальзамин? Она не станет слишком долго приглядываться. Но вот ребенок... Нет, Кевин не мог примириться с мыслью о том, что какой-нибудь ребенок обнаружит то, что когда-то обнаружил он сам: стремление матери уничтожить собственную жизнь было столь велико и действительно, что заставило ее разбрызгать телесную оболочку по всей кухне. Не думать об этом, тихо приказал Кевину внутренний голос, когда он проезжал мимо дома. Не думать. Лес по-прежнему на своем месте, а это все, что ему нужно. Все, чего он хочет, – это улечься на сосновые иглы, прикоснуться к тонкой, лупящейся коре кедра, увидеть над головой иглы лиственницы и раскрытые зеленые листья ландыша у лица. Прячущиеся в зелени белые венчики звездочета, лесные фиалки – все их когда-то ему показала мать.

Усилившееся побрякивание тросов о мачты яхт дало Кевину понять, что ветер усиливается. Чайки перестали орать, ведь рыбьих внутренностей больше не было. Жирная чайка, примостившаяся на поручне пандуса недалеко от машины, поднялась в воз-

дух – ей пришлось лишь дважды взмахнуть крыльями, дальше ее понес бриз. Кости-то у нее полые: Кевин видел кости чаек еще в детстве, когда ездили на остров Пакербраш. Он запаниковал, закричал от страха, когда его брат собрал несколько косточек, чтобы взять домой. «Положи на место!» – крикнул он тогда брату.

«Состояния и характерные черты, – сказал доктор Голдстайн. – Черты не меняются, меняется состояние духа».

Подъехали две легковушки и припарковались поблизости. Кевин не думал, что в будний день здесь может быть так оживленно, впрочем, ведь уже почти июль, у людей тут яхты стоят, на них в море ходить надо; он смотрел, как мужчина и женщина, оба чуть старше его, несут вниз по пандусу большую корзину: сейчас, с приливом, пандус стал уже не таким крутым. А вот отворилась сетчатая дверь ресторанчика, и оттуда вышла женщина в юбке значительно ниже колен и таком же длинном фартуке: она, вероятно, шагнула сюда из какого-то другого века. Она несла железное ведро, и, когда направилась к пристани, Кевин разглядывал эту женщину в движении – ее плечи, ее стройную спину, ее узкие бедра: она была прелестна, как бывает прелестно молодое деревце в лучах предвечернего солнца. И в нем вдруг возникло томле-

ние, не сексуальное желание, но тяга к присущей этой женщине простоте формы. Он отвернулся и вздрогнул всем телом, увидев очень близко перед собой лицо женщины, вглядывающейся в него сквозь стекло со стороны пассажирского кресла.

Миссис Киттеридж. Вот черт! Выглядит точно так же, как на уроке математики в седьмом классе: то же прямодушное, с высокими скулами лицо и волосы такие же темные. Эта учительница ему нравилась, но в школе любили ее далеко не все. Сейчас он бы от нее отмахнулся или тронул бы машину и отъехал, но его удержала память о том уважении, какое он к ней питал. Миссис Киттеридж постучала пальцами по стеклу, и, чуть поколебавшись, Кевин наклонился и до конца опустил стекло.

– Кевин Каулсон. Привет.

Он кивнул.

– Не собираешься пригласить меня посидеть с тобой в машине?

Его руки, лежавшие на коленях, сжались в кулаки. Он покачал было головой:

– Нет, я только...

Однако она уже влезала в машину – крупная женщина, целиком заполнившая ковшеобразное кресло, колени чуть ли не упирались в приборную панель. Втащила и водрузила на колени большую черную сум-

ку.

– Что привело тебя сюда? – спросила она.

Кевин глядел на воду. Молодая женщина возвращалась от пристани, чайки яростно вопили ей вслед, бросаясь вниз и хлопая огромными крыльями, – похоже, она выбрасывала в воду раковины от клемов.

– В гости приехал? – подсказала миссис Киттеридж. – Из самого города Нью-Йорка? Ты ведь там теперь живешь?

– Господи, – тихо сказал Кевин, – неужели все всё всегда знают?

– О, разумеется, – утешила она. – Что же еще всем остается делать?

Она повернулась к нему лицом, но ему не хотелось встречаться с ней глазами. Ветер над заливом вроде бы еще усилился. Кевин засунул руки в карманы, чтобы удержаться, – не сосать же при ней костяшки!

– У нас тут теперь много туристов, – сказала миссис Киттеридж. – Просто кишат повсюду в это время года.

Кевин издал горлом некий звук, признавая этот факт, – а ему-то что?! – но ведь она к нему обращалась. Он все смотрел на стройную женщину с ведром, она наклонила голову, входя обратно в ресторан, и аккуратно закрыла за собой сетчатую дверь.

– Это Пэтти Хоу, – объяснила миссис Киттеридж. – Помнишь ее? Пэтти Крейн. Вышла за старшего из

братьев Хоу. Хорошая девочка. Только вот выкидыши у нее случились, и она грустит. – Оливия Киттеридж вздохнула, иначе поставила ноги, нажала на рычаг – чем немало удивила Кевина – и устроилась поудобнее, сдвинув сиденье назад. – Подозреваю, они ее скоренько подлечат и она забеременеет тройней.

Кевин вытащил руки из карманов, похрустел суставами пальцев.

– Пэтти была очень милая. Совсем про нее забыл, – проговорил он.

– Она и сейчас милая. Я про это и говорю. А что ты делаешь там, в Нью-Йорке?

– Ну... – Он поднял руки, заметил красноватые пятна на костяшках и скрестил руки на груди. – Я сейчас на практике. Четыре года назад получил медицинскую степень.

– Скажи пожалуйста! Это впечатляет. В какой же области медицины ты сейчас практикуешься?

Кевин взглянул на приборную панель и поразился: неужели он раньше не видел, какая она грязная? При ярком солнце панель говорила старой учительнице о том, какой он неряха, жалкий человек, без капли достоинства. Он набрал в грудь воздуха и ответил:

– В области психиатрии.

Он ожидал, что она воскликнет «ах!», а когда она ничего не сказала, он взглянул на нее и увидел, что

она всего лишь равнодушно кивает головой.

– Здесь красиво, – произнес он, прищулив глаза и снова глядя на залив.

В его словах звучала благодарность за то, что он воспринял как сдержанность и такт, и это было правдой – про залив тоже. Кевину казалось, что он смотрит на залив сквозь огромное толстое стекло, гораздо большего размера, чем ветровое, но залив все равно обладал – и Кевин понимал это – некой величественной красотой, с его покачивающимися на волнах, побрякивающими яхтами, с пенно-взбитой водой, с дикой розой ругозой. Насколько лучше было бы стать рыбаком, проводить свои дни в окружении всего этого. Он думал о результатах ПЭТ – позитронно-эмиссионной томографии головного мозга, – которые изучал, всегда пытаясь найти что-то о своей матери, упорно держа руки в карманах, кивая в ответ на речи радиологов, иногда чувствуя, как за веками, не проливаясь, набегают на глаза слезы: разрастание мозжечковой оливы, рост повреждений белого вещества, значительное сокращение числа глиальных клеток. Биполярность психики⁷.

– Но все равно, – заявил он, – я не собираюсь быть психиатром.

⁷ Биполярность психики – психическое расстройство, характеризующееся сменой противоположных синдромов.

Теперь ветер и в самом деле набрал силу, пандус плавающего причала подбрасывало вверх-вниз, вверх-вниз.

– Представляю, сколько ненормальных тебе приходится встречать по работе, – сказала миссис Киттеридж, поудобнее располагая ноги: под ее подошвами на полу машины скрипели песок и мелкие камешки.

– Да, бывает.

Он поступил на медицинский факультет, собираясь стать педиатром, как его мать, но его влекла психиатрия, несмотря на то что, как он полагал, психиатрами люди становятся из-за своего тяжелого детства и ищут, ищут, ищут в работах Фрейда, Хорни, Райха⁸ и других ученых объяснения, почему они стали такими, как есть, – анально-ретентивными, нарциссичными, эгоцентричными уродами, в то же время, разумеется, отрицая этот факт. Какого только дерьма он не

⁸ Карен Хорни (1885–1952) – немецкий и американский врач, психолог и психопатолог, представитель постфрейдизма. Училась и работала в Германии, с 1932 г. – в США, где создала (совм. с Ф. Александером) и возглавила Чикагский психоаналитический институт, затем работала в Нью-Йорке, создала Ассоциацию развития психоанализа. Автор фундаментальных работ. Вильгельм Райх (1897–1957) – австрийский и американский врач и психолог. С 1939 г. в США. Стремился сочетать фрейдизм с марксизмом. Выступал с требованиями сексуальной революции и отмены «репрессивной» морали. Позднее отошел от фрейдизма, развивая учение о космической энергии жизни.

наслушался от своих коллег, от своих профессоров! Его собственные интересы сузились до проблем, возникающих у жертв мучительства, но и это ввергло его в отчаяние, и когда он наконец попал под руководство доктора Марри Голдстайна, д. ф. н., д. м. н.⁹, и поведал ему, что собирается работать в Гааге с теми, кого били по пяткам до голого мяса, чьи тела и души оказались губительно искалечены, доктор Голдстайн спросил: «Вы что, чокнутый?»

А Кевин был как раз увлечен одной чокнутой, Кларой, ну и имечко! Клара Пилкингтон. Она казалась самой нормальной из всех, кого он встречал в своей жизни. Ничего себе, а? А ей надо бы носить на шее вывеску «Предельно чокнутая Клара».

– Ты ведь знаешь старую поговорку, верно? – спросила миссис Киттеридж. – Психиатры все психи, кардиологи – бессердечны...

Кевин повернулся к ней лицом:

– А педиатры?

– А детские врачи – деспоты, – признала миссис Киттеридж и пожала плечами.

Кевин кивнул.

– Да, – еле слышно ответил он.

Минуту спустя миссис Киттеридж сказала:

⁹ Д. ф. н. – доктор философских наук, д. м. н. – доктор медицинских наук.

– Ну, знаешь, твоя мама, наверное, просто ничего с этим поделать не могла.

Он был поражен. Желание пососать костяшки пальцев превратилось в какой-то болезненный зуд; он провёл руками взад-вперед по коленям, обнаружил дыру в джинсах.

– Я думаю, у мамы было биполярное расстройство психики, – произнес он. – Только никто никогда диагноза не поставил.

– Понятно, – кивнула миссис Киттеридж. – Сегодня ей, вероятно, смогли бы помочь. У моего отца не было биполярного расстройства. У него была депрессия. И он всегда молчал. Может, и ему смогли бы сегодня помочь.

Кевин не ответил. Он подумал – может, и не смогли бы.

– И мой сын. У него тоже депрессия. Видно, по наследству.

Кевин взглянул на нее. Бусинки пота выступили у нее под глазами, там, где наметились мешки. Теперь он разглядел, что на самом деле она выглядит много старше. Да, конечно, не могла же она до сих пор выглядеть такой же, как тогда, – учительницей математики в седьмом классе, которую так боялись ребята. Он и сам ее боялся, хоть и любил.

– А чем он занимается? – спросил Кевин.

– Он врач-ортопед.

Кевин ощутил, как темное облачко печали плывет к нему от старой учительницы. Порывы ветра теперь задували во всех направлениях, так что залив стал похож на сине-белый, по-сумасшедшему глазированный торт, гребешки волн бежали то в одну сторону, то в другую. Листья тополей возле Марины трепетали, стремясь вверх, ветви клонились все в одну сторону.

– Я думала о тебе, Кевин Каулсон, – сказала Оливия Киттеридж. – Часто.

Он прикрыл глаза; слышал, как она подвинулась в кресле рядом с ним, слышал, как скрипят камешки на резиновом коврике у нее под ногами. Совсем уж было собрался сказать: «Я не хочу, чтобы вы думали обо мне», когда она вдруг произнесла:

– Мне твоя мама нравилась.

Он открыл глаза. Пэтти Хоу опять вышла из ресторанчика: она направлялась к дорожке, что шла перед Мариной, и в груди у Кевина вдруг родилось какое-то волнение, ведь там, впереди, – голая скала, если память ему не изменяет, крутой обрыв прямо в море. Но она наверняка это знает.

– Да, я знаю – она вам нравилась, – сказал он, глядя в широкое, умное лицо миссис Киттеридж. – Вы ей тоже нравились.

Оливия Киттеридж кивнула:

– Умная женщина. Она очень умная была.

Кевин задавался вопросом: сколько же времени все это будет продолжаться? И все же то, что она знала его мать, имело для него значение. В Нью-Йорке ее никто не знал.

– Не знаю, известно тебе или нет, но с моим отцом было то же самое.

– Что – то же самое? – Он нахмурился и на миг провёл между губами костяшкой указательного пальца.

– Самоубийство.

Кевин хотел, чтобы она ушла. Пора уже было ей уходить.

– Ты женат?

Он покачал головой.

– Ну да. Мой сын тоже не женат. Моего мужа это просто с ума сводит. Генри хочет всех поженить, чтобы все были счастливы. А я говорю, ради всего святого, дай ему время. Здесь у нас и выбора-то особого нет. А там, в Нью-Йорке, я думаю, ты...

– Да я не в Нью-Йорке.

– Прости, не поняла?

– Я не... Я больше не живу в Нью-Йорке.

Он услышал, как она собралась о чем-то его спросить; ему казалось, она вот-вот оглянется, посмотрит на заднее сиденье, увидит то, что лежит у него в машине. Если так случится, ему придется сказать ей, что

он должен ехать, придется попросить ее уйти. Он следил за ней уголком глаза, но она по-прежнему смотрела только вперед.

В руке у Пэтти Хоу Кевин заметил большие ножницы. В развевающейся вокруг ног юбке она стояла у ругозы, срезая ветки с белыми цветами. Он не сводил глаз с Пэтти, за ней простирался волнующийся залив.

– А как он это сделал? – Кевин отер руку о джинсы.

– Мой отец? Застрелился.

У пришвартованных яхт высоко вздымалась корма, потом резко опускалась, словно их одергивало какое-то разгневанное подводное чудище. Белые цветы ругозы наклонялись, выпрямлялись и снова наклонялись, их зубчатые листья колебались, словно и они – морские волны. Кевин увидел, что Пэтти отошла от кустов и потрясла рукой, как будто укололась шипами.

– И никакой записки, – сказала миссис Киттеридж. – Ох, моей матери тяжело пришлось из-за отсутствия записки. Она-то думала, самое меньшее, о чем он мог бы позаботиться, так это записку оставить, как он делал всегда, когда в магазин за продуктами уходил. Мать все повторяла: «Ему хватало чуткости оставлять мне записку, когда он куда-нибудь уходил». Но ведь на самом деле он и не ушел никуда. Он так там и остался – на кухне, бедняга.

– А что, эти яхты когда-нибудь отрываются, уплы-

вают?

Кевин представил себе кухню своего собственного детства. Он знал, что пуля двадцать второго калибра может пролететь целую милю, пройти сквозь толстую, девятидюймовую доску. Но после того как она прошла сквозь небо, сквозь крышу черепа и в небо сквозь крышу дома – далеко ли она улетит после этого?

– Ну, иногда случается. Не так часто, как можно подумать, при том, какими яростными тут эти шквалы бывают. Но время от времени одна какая-нибудь возьмет да оторвется. И тогда, знаешь, такая суматоха начинается. Отправляются ее искать в надежде, что она о скалы не разобьется.

– И что, тогда на марину в суд подают за преступную халатность? – Кевин говорил об этом, чтобы отвлечь миссис Киттеридж.

– Не знаю, – ответила она. – Не знаю, как они такие дела ведут. Думаю, тут разные виды страховки играют роль. От преступной халатности или от стихийного бедствия.

В тот самый момент, как Кевин осознал, что ему нравится звук ее голоса, он почувствовал, как его заливают адреналин, возрождается знакомая, внушающая благоговейный страх горячность, вступает в свои права неутомимый организм, жаждущий жизни. Он прищурился, глядя вдаль, в сторону открытого моря.

Ветер гнал оттуда огромные серые тучи, и все же, словно соревнуясь с ним, солнце стремил из-за туч желтые лучи, так что местами вода сверкала с неистойвой веселостью.

– Это необычно для женщины – воспользоваться ружьем, – задумчиво произнесла миссис Киттеридж.

Кевин взглянул на нее. Она не ответила на его взгляд, так и смотрела вперед, на кружение приливных волн.

– Что ж, моя мать была необычной женщиной, – мрачно проговорил он.

– Да, – согласилась миссис Киттеридж. – Она была женщиной необычной.

Когда Пэтти Хоу закончила свою смену, сняла фартук и пошла в заднюю комнату повесить его на место, она увидела сквозь пыльное стекло окна желтые цветы красоднева, или, как его здесь называли, дневной лилии, растущие на крохотной зеленой лужайке сбоку от марины. Она представила их стоящими в вазе у кровати. «Я ведь тоже огорчился, – сказал ей муж, когда это случилось во второй раз, и добавил: – Но я понимаю, тебе может казаться, что это случается только у тебя одной». Ее глаза увлажнились при этом воспоминании, и любовь волной захлестнула все ее существо. Желтые лилии не останутся незамеченными.

Никто не заходил в ту дальнюю сторону марины – отчасти потому, что дорожка, проходившая перед ней, была такой узкой, а обрыв таким крутым. Для перестраховки там недавно поставили знак «Хода нет!» и даже поговаривали о том, чтобы огородить это место, пока какой-нибудь малыш, оставшийся без пригляда, не забрел туда через заросли. Но Пэтти просто срежет несколько цветков и сразу уйдет. Она отыскала в ящике ножницы и вышла, чтобы собрать свой букет, по пути приметив, что миссис Киттеридж сидит в машине вместе с Кевином Каулсоном, и из-за того, что миссис Киттеридж оказалась вместе с ним, на душе у нее стало как-то спокойнее. Она не могла бы сказать почему, да и не стала над этим задумываться. Ветер усилился просто на удивление. Она поскорее нарежет цветов, обернет их влажным бумажным полотенцем и заглянет к матери по дороге домой. Сначала она наклонилась над кустами ругозы, подумав о том, как нежно станут сочетаться друг с другом желтые и белые цветы, но кусты раскачивались под ветром, как живые, и искололи ей пальцы. Пэтти повернулась и пошла по тропинке туда, где росли дневные лилии.

– Ну что ж, приятно было повидать вас, миссис Киттеридж, – сказал Кевин.

Он взглянул на нее и кивнул: кивок должен был по-

служить сигналом к расставанию. Такое невезение, что она случайно на него натолкнулась, но тут уж никак не его вина. Кевин чувствовал себя виноватым перед доктором Голдстейном, которого успел искренне полюбить, но даже это чувство отступило, пока он ехал по скоростному шоссе.

Оливия Киттеридж в этот момент доставала салфетку «Клинекс» из своей огромной черной сумки. Она отерла лоб над бровями, у линии волос. На Кевина она не глядела. Сказала:

– Жаль, что я передала ему эти гены.

Кевин возвел глаза к небу, надеясь, что она этого не видит. Вся эта трепотня о проблеме генов, ДНК, РНК, шестой хромосомы, допамина, серотонина... Он совершенно утратил какой бы то ни было интерес к этому. На самом деле все это вызывало в нем гнев, какой могло бы вызвать предательство. «Мы стоим у грани понимания самой сути того, как работает мозг на реальном, молекулярном уровне, – заявил в прошлом году на лекции один весьма известный ученый. – Перед нами – заря новой эры».

Перед нами всегда заря новой эры.

– Правда, мальчик и от Генри получил сколько-то подпорченных генов, не без того. Один Бог знает сколько. Знаешь, его мамаша была совершенно ненормальная. Ужас!

– Чья мамаша?

– Моего мужа, Генри. – Миссис Киттеридж извлекла из сумки темные очки и водрузила их на нос. – Думаю, теперь уже не говорят «ненормальная», правда? – Она взглянула на Кевина поверх очков.

Он был готов снова приняться за костяшки, но положил руки обратно на колени.

«Ну уходите, пожалуйста», – думал он.

– У нее было целых три срыва, и ей трижды делали электрошок. Разве это не подходит под такое определение?

Кевин пожал плечами:

– Ну, она могла быть просто перевозбуждена до умопомрачения. Думаю, по меньшей мере можно так сказать.

Ненормальная – это когда берешь бритву и нарезаешь длинные полосы на собственном торсе. На собственных бедрах. На собственных руках. ПРЕДЕЛЬНО ЧОКНУТАЯ КЛАРА. Вот это – ненормальная. В первую же ночь вместе, в темноте, он нащупал эти полосы. «Я упала», – шепнула она. Он рисовал картины совместной с ней жизни. Фотографии и рисунки на стенах, свет, сияющий в окно спальни. Друзья в День благодарения, елка на Рождество, потому что Клара, конечно, захочет елку.

«Это не девушка, а напасть какая-то», – сказал ему

доктор Голдстайн.

Неуместно было доктору Голдстайну говорить такое. Но она и правда была не девушка, а напасть какая-то: любящая и нежная в один момент, злобная и яростная – в другой. Мысль, что она порезала себя, сводила Кевина с ума. Безумие порождает безумие. А потом она его бросила, потому что так Клара и поступала – бросала людей и все остальное. Уходила во что-то новое вместе со своими наваждениями. Чокнулась из-за Кэрри А. Нейшн, первой женщины-прогибиционистки¹⁰, которая ездила по стране, круша топорами питейные заведения, а потом эти топоры продавала. «Разве это не круто? Это самое крутое, что я в жизни слыхала!» – говорила Клара, потягивая соевое молоко из стакана. Вот так оно и шло. От одного завихрения к другому.

«Все страдают из-за несчастной любви», – говорил доктор Голдстайн.

Это как раз не соответствовало действительности. Кевин знал людей, которые вовсе не страдали из-за несчастной любви. Таких, может быть, и немного, но они есть. Оливия Киттеридж высморкалась.

– А ваш сын, – вдруг спросил Кевин, – он попрежнему практикует?

– Что ты имеешь в виду?

¹⁰ Прогибиционист – сторонник запрещения спиртных напитков.

– При его депрессии? Он по-прежнему на работу каждый день ходит?

– Ах это. Ну конечно.

Миссис Киттеридж сняла темные очки и устремила на Кевина быстрый, пронизательный взгляд.

– А мистер Киттеридж? Он хорошо себя чувствует?

– Да. Он подумывает пораньше на пенсию уйти. Ты знаешь, они ведь аптеку продали, и ему пришлось бы работать в новой, большой фирме, а там целая куча новых дурацких правил и инструкций. Грустно, как поглядишь, куда идет наше общество.

Всегда грустно глядеть, куда идет наше общество. И перед нами всегда – заря новой эры.

– А чем твой брат собирается заниматься? – спросила миссис Киттеридж.

Теперь Кевин почувствовал, что очень устал. Может, это и к лучшему.

– Последнее, что я о нем слышал, – он обитал на улицах Беркли. Он наркоман.

В последнее время Кевин редко вспоминал, что у него есть брат.

– А вы тогда отсюда куда уехали? В Техас? Я правильно помню? Твой отец вроде бы нашел там работу?

Кевин кивнул.

– Я думаю, ему хотелось как можно дальше от этих

мест уехать. Время и расстояние – так ведь всегда говорят. Не знаю, насколько это верно.

Чтобы положить конец затянувшейся беседе, Кевин хмуро сказал:

– Отец умер в прошлом году от рака печени. Он больше не женился. И я с ним нечасто виделся после того, как из дому уехал.

Кевин защищал дипломы, получал степени, оканчивал колледжи и университеты, добиваясь стипендий и грантов, но его отец никогда не показывался ему на глаза. И каждый город казался ему многообещающим. Каждое новое место, казалось, говорило ему: «Ну вот и ты! Давай! Ты можешь здесь жить. Можешь здесь отдохнуть. Ты вступишься». Необъятное небо Юго-Запада, тени, окутывавшие горы пустыни, бесчисленные кактусы, с красными кончиками, с желтыми цветами или с плоскими головами, – все это поначалу, когда он впервые приехал в Тусон, принесло ему облегчение, и он стал совершать одинокие походы, потом – походы с другими ребятами из университета. Вероятно, Тусон мог бы оказаться его любимым местом пребывания, если бы Кевину пришлось выбирать: такое невероятное различие между тамошним открытым пространством и этой иззубренной линией побережья.

Но всюду, где бы он ни был, всюду, где новые раз-

личия давали ему надежду – среди высоких жарко-белых застекленных зданий Далласа, на обрамленных деревьями улицах чикагского Гайд-парка, где у каждой квартиры имелась сзади деревянная лестница (это ему особенно нравилось); в окрестностях Уэст-Хартфорда, где все выглядело как в книжке сказок – аккуратные домики, идеальные газоны, – всюду, раньше или позже, так или иначе, ему становилось ясно, что на самом деле он не вписывается.

Когда в Чикагском университете Кевин получал диплом врача – он присутствовал на церемонии вручения только потому, что одна из его преподавательниц, добрая женщина, сказала, что огорчится, если его там не будет, – он сидел под палящим солнцем, слушая речь президента университета, и тот заключил свое обращение к ним словами: «Самое главное в жизни – любить и быть любимыми». Это вызвало у Кевина ужас, который все рос и рос, пока не заполнил все его существо настолько, что душа его словно стянулась в тугой узел. Надо же было сказать такое! Этот человек, в его освященной веками мантии, с его седыми волосами, с лицом мудрого дедушки, даже не представлял себе, что его слова могут вызвать у Кевина столь обостренное чувство тихого ужаса. Ведь даже Фрейд утверждал: «Мы должны любить, иначе мы заболеваем». Все говорят ему это всеми буквами. «Мы

принадлежим миру семьи и любви. А ты – нет».

Нью-Йорк – самый недавний город его пребывания – был самым многообещающим. Метро дарило ему такое разнообразие тусклых красок и раздраженных людских лиц, что ему становилось легче; разнообразная одежда, сумки с покупками, люди, спящие в вагонах, читающие или кивающие в такт мелодии, звучащей в наушниках: он любил метро и – на какое-то время – то, как работают нью-йоркские больницы. Однако его роман с Кларой, и особенно конец этого романа, вызвал у него отвращение к этому городу, так что теперь его улицы стали казаться ему слишком людными, они его утомляли, то есть всё как всегда. Он любил доктора Голдстайна, но, что тут поделаешь, все остальные его утомляли, и он все чаще и чаще замечал, как провинциальны ньюйоркцы и как они сами этого не понимают.

Кевин вдруг осознал, что ему необходимо увидеть дом, где прошло его детство, – дом, где, как он считал даже сейчас, сидя в машине, у него не было ни одного счастливого дня. И все-таки, как ни странно, воспоминание о том, что детство его не было счастливым, обволакивало его нежностью, словно воспоминание о юной любви. Потому что у Кевина остались воспоминания о нескольких юношеских романах – кратких и нежных, совсем не похожих на длинную, путаную,

затянувшуюся историю с Кларой, – однако все они были несоизмеримы с той душевной жаждой, с тем страстным стремлением, которое влекло его к этому месту. К этому дому, где тренировочные майки и шерстяные куртки пахли отсыревшей солью и плесневым деревом: от их запаха его тошнило, как и от запаха горящих поленьев в тех редких случаях, когда отец разжигал в камине огонь, рассеянно подправляя поленья кочергой. Кевин подозревал, что он, вероятно, единственный во всей стране терпеть не может запаха горящих в камине поленьев. Но этот дом, эти деревья, заплетенные вьющимися растениями, неожиданно увиденная женская тужелька среди сосновых игл, раскрытые листья лесных ландышей – по всему этому он тосковал.

Он тосковал по своей матери.

«Я завершил ужасный свой поход... И возвратился повторить его...» Кевин жалел – и далеко не в первый раз, – что не был знаком с поэтом Джоном Берриманом¹¹.

– В молодости, – заговорила миссис Киттеридж,

¹¹ Джон Берриман (тж. Берримен) (John Berryman; 1914–1972) – американский поэт и литературовед, автор романа «Исцеление» (опубл. 1977). Значительная часть его стихов отличается большой нервной напряженностью; в них говорится о душевных муках поэта, связанных, в частности, с чувством личной вины и религиозными сомнениями. Покончил с собой, прыгнув с моста через Миссисипи.

держала темные очки в руке, – ну, знаешь, я тогда совсем маленькая была – я любила прятаться в ящике для дров, когда отец должен был домой вернуться. Он садился на этот ящик и говорил: «А где же Оливия? Куда Оливия подевалась?» Так продолжалось, пока я не начинала стучать в борт ящика, а он делал вид, что страшно удивлен. «Оливия! – восклицал он. – Я понятия не имел, куда ты подевалась!» И я заливалась смехом, он тоже смеялся.

Кевин повернулся к ней, она надела очки. И добавила:

– Не помню, как долго это продолжалось, может быть, пока я не стала слишком большой, чтобы в ящике помещаться.

Кевин не знал, что отвечать на это. Он стиснул руки изо всех сил и пристально смотрел вниз, на руль машины. Он ощущал присутствие этой большой женщины рядом и на миг представил себе, что рядом с ним сидит слониха, пожелавшая стать членом человеческого сообщества, милая в своей наивности, вроде бы положившая на колени свои неуклюжие передние ноги и чуть поводящая хоботом во время речи.

– Замечательная история, – сказал он.

Он подумал о мальчике, чистившем на причале рыбу, – как его отец протянул ему руку. И опять вспомнил Джона Берримана. «Храни нас от отцов-самоубийц...

Будь милосерден!.. Не спускай курок, иначе мне вовеки не изжить отцовской злобы...» Интересно, миссис Киттеридж много стихов знает? Она ведь математичка.

– Смотри-ка, ветер какую силу набрал, – сказала она. – Это всегда так увлекательно бывает, если, конечно, твой причал не уплывет, как наш, – вечно отрывался. И Генри волнами уносило вон на те скалы... Ох, господи, ну и шум же тогда тут поднимали!

И опять Кевин вдруг обнаружил, что ему приятен звук ее голоса. В ветровое стекло ему было видно, что теперь волны стали гораздо выше, они били в уступ перед Мариной с такой силой, что высоко в воздух взлетали фонтаны брызг, медлительно затем опадавших, капли словно просеивались сквозь осколки солнечного света, все еще пробивавшего себе путь среди темных туч. В голове у Кевина колебалось что-то вроде зыби, словно и там кипел прибой, такой же, как перед его глазами. «Не уходите, – неожиданно обратились его мысли к миссис Киттеридж. – Не уходите».

Но такое смятение было истинной мукой. Ему вспомнилось, как вчера, когда утром в Нью-Йорке он вышел к своей машине, он примерно с минуту ее просто не видел. И ощутил моментальный укол ужаса: ведь он все заранее спланировал, со всем покончил, так куда же теперь подевалась машина? Но она была

там, стояла на месте – его старый универсал «Субару», и тут Кевин понял, что то, что он вчера почувствовал, было надеждой. Надежда – рак, разрастающийся у него внутри. Она ему не нужна, он ее не желает. Он больше не способен терпеть эти нежно зеленющие ростки новой надежды, пробивающиеся в его душе. Ему вспомнился ужасающий рассказ человека, бросившегося с моста Золотые Ворота в Сан-Франциско, но оставшегося в живых: рыдая, тот говорил, что целый час ходил взад-вперед по мосту и плакал и, если бы хоть один человек остановился и спросил его, отчего он плачет, он не бросился бы вниз с моста.

– Миссис Киттеридж, вам теперь надо...

Но она наклонилась вперед: прищурясь, вглядывалась сквозь переднее стекло.

– Постой! Что такое, черт побери?!

И, двигаясь быстрее, чем Кевин мог ожидать, она выскочила из машины, оставив дверцу нараспашку, бросив черную сумку на траву. На миг она исчезла из виду, затем появилась вновь, махая руками и крича, – что она кричала, Кевин расслышать не мог.

Он вышел из машины, и его поразила мощь ветра, хлестнувшего его сквозь рубашку. Миссис Киттеридж кричала: «Скорей! Скорей же!» – и махала руками, словно огромная чайка крыльями. Кевин бросился туда, где она стояла, и взглянул вниз, на воду; прилив-

ные волны были гораздо выше, чем он предполагал.

Миссис Киттеридж указывала на что-то, взволнованно тыча вниз рукой, и он увидел, как в кипящей воде на миг показалась голова Пэтти Хоу, волосы у нее намокли и потемнели, но тут она снова скрылась, а ее юбка кружилась в волнах вместе с крутящимися темными веревками водорослей.

Кевин повернулся, раскинул руки, как бы желая, скользая вниз по голой скальной стене, обнять камень, ухватиться за него, но ухватиться было не за что – лишь плоская поверхность, обдирающая грудь, разрывающая одежду, кожу, щеку, а потом – холодная вода, накрывшая его с головой. Он был ошеломлен тем, как холодна вода, – будто его бросили в огромную лабораторную пробирку, заполненную вредным химическим реактивом, разъедающим кожу. В неостановимом кружении воды его нога нащупала что-то твердое; он обернулся и увидел, что Пэтти тянется к нему руками, ее глаза открыты, юбка кружится вокруг талии; пальцы Пэтти почти дотянулись до него, она промахнулась, снова протянула к нему руки, и Кевин ее схватил. Волны на миг отступили, а когда вода вернулась и накрыла их обоих, Кевин крепко прижал Пэтти к себе, а она обвила его руками с такой силой – он и предположить не мог, что такое возможно, что своими тонкими руками она способна так крепко ухватиться

за что-то, как она ухватилась за него.

Вода снова отступила, они оба смогли сделать вдох, затем их опять накрыло с головой, нога Кевина зацепилась за что-то неподвижное – старая труба, он закинул за нее ногу. В следующий раз, когда волна откатилась назад, им удалось высоко задрать голову и чуть отдышаться. Кевин услышал, как миссис Киттеридж сверху что-то кричит им. Он не мог разобрать слов, но понял, что идут к ним на помощь. Ему надо только удержать Пэтти, чтобы она не упала в волны, и, когда они снова погрузились под крутящуюся, всасывающую их в себя воду, он крепче сжал руку молодой женщины выше локтя, чтобы дать ей понять: он ее не отпустит. Несмотря даже на то, что на какой-то миг, глядя в ее раскрытые в этой кружащейся соленой воде глаза, под солнцем, сияющим сквозь каждую волну, он подумал: хорошо бы этот миг затянулся навечно – темноволосая женщина на берегу, взывающая об их спасении, девочка, которая когда-то прыгала через веревку, точно королева, а теперь обнимает его с силой, равной мощи океана... О, этот безумный, нелепый, непознаваемый мир! Смотри, как она жаждет жизни, как она хочет держаться!

Пианистка

Четыре вечера в неделю Энджела О'Мира играла на рояле в коктейль-холле ресторана «Гриль-бар на Складе». Коктейль-холл, просторный и удобный, с расставленными повсюду диванами, глубокими кожаными креслами и низкими столиками, находился тут же, у входа, сразу как откроешь тяжелые двери старого здания; обеденный зал был гораздо глубже, его окна выходили на залив. В начале недели коктейль-холл чаще всего пустовал, но под вечер среды и вплоть до воскресенья он заполнялся людьми. Стоило лишь сделать шаг с тротуара через тяжелые дубовые двери, как слышались звуки рояля, звонкие и непрерывные, и голоса людей, беседующих откинувшись на спинки диванов, наклонившись вперед в креслах или опершись на стойку. Казалось, эти разговоры приспособились к постоянному звучанию фортепиано, так что это стало уже не столько фоновой музыкой, сколько характеристикой самого холла. Иными словами, обитатели города Кросби, что в штате Мэн, давным-давно приняли в свою жизнь музыку коктейль-холла и присутствие там Энджелы О'Меры.

В юности Энджи была прелестна – глаз не оторвать, – с вьющимися рыжими волосами и идеальной

кожей, и во многих отношениях все оставалось так же и теперь. Только сейчас ей было уже за пятьдесят, и ее рыжие волосы, небрежно заколотые сзади гребнями, были покрашены в такой цвет, что, на ваш взгляд, могли бы показаться скорее красными, чем рыжими, а ее фигура, все еще грациозная, несколько раздалась посередине, что было особенно заметно, потому что вообще-то Энджела оставалась довольно худенькой. Но талия у нее была длинная, и когда она усаживалась на рояльный табурет, она делала это с легкостью и изяществом балерины, хотя и переступившей уже пору своего расцвета. Овал лица у нее обмяк, утратил четкую линию, и морщинки у глаз были ясно видны. Но это были добрые морщинки: казалось, ничего резкого, грубого с этим лицом не произошло. Если и стоит о чем-то упомянуть, то ее лицо слишком явно говорило о надежде, о простодушном ожидании, что вовсе не подходило женщине ее возраста. В наклоне ее головы, в небрежности прически и слишком ярком цвете волос, в открытом, пристальном взгляде голубых глаз было что-то такое, что в иных обстоятельствах могло бы вызвать у людей чувство неловкости. Например, чужакам, встречавшим ее в торговом центре «Кухаркин угол», не терпелось украдкой бросить на нее еще не один взгляд. Но ведь Энджи была фигурой, хорошо знакомой всем, кто жил в городе. Она

– Энджи О’Мира, ничего особенного, просто пианистка, и уже много лет играет на рояле в «Складе». Она влюблена в главу городского совета Малькольма Муди – и тоже уже много лет. Некоторые горожане знают об этом, другие – нет.

В ту пятницу, о которой идет речь, до Рождества оставалась всего неделя, и недалеко от кабинетного рояля стояла большая, щедро разукрашенная елка. Серебристая мишура на ней слегка покачивалась, как только открывались двери на улицу, а среди разнообразных шаров, между гроздьями пакетиков с воздушной кукурузой и клюквой в сахаре, сверкали разноцветные лампочки размером с куриное яйцо, украсившие чуть наклоненные ветви елки.

Энджи надела черную юбку и розовую нейлоновую кофточку, открывающую ключицы, и было в нитке жемчужин на ее шее, в этой розовой кофточке и в сияющей рыжине ее волос, которые, казалось, сверкали вместе с рождественской елкой, что-то такое, от чего Энджи становилась как бы продолжением этой елки, усиливая ее праздничность. Энджи явилась, как всегда, точно в шесть часов, со своей всегдашней рассеянной, детской улыбкой на губах, жуя мятные пастилки; она поздоровалась с барменом Джо, с официанткой Бетти, потом аккуратно уложила сумочку и шубку у конца стойки. Джо, плотно сбитый мужчина, прорабо-

тавший здесь много лет и обладавший зорким глазом хорошего бармена, давно пришел к тайному заключению, что Энджи О'Мира каждый вечер приходит на работу, испытывая настоящий страх. Только страх мог бы объяснить, почему в ее мятном дыхании чувствуется запах спиртного, если вдруг окажешься достаточно близко, чтобы его уловить, и только страх объяснил бы, почему она никогда не использует свой двадцатиминутный перерыв, хотя он разрешен профсоюзом музыкантов и поощряется хозяином «Склада». «Терпеть не могу еще раз начинать», – как-то вечером призналась она Джо; тогда-то он и сопоставил все факты и решил, что Энджи страдает от страха перед выходом на публику.

Если она страдала и еще от чего-нибудь, считалось, что вот это как раз никого не касается. Случилось так, что на самом деле горожане знали об Энджи очень мало, в то же время полагая, что есть такие, кто знает о ней несколько больше. Она снимала однокомнатную квартирку на Вуд-стрит, и у нее не было машины. Продовольственный магазин находился от ее дома в нескольких шагах, да и ресторан «Грильбар на Складе» – точно в пятнадцати минутах ходьбы в черных туфельках на очень высоком каблуке. А зимой Энджи надевала черные сапожки, тоже на очень высоком каблуке, и белую шубку из искусственного

меха; в руке она несла маленькую плоскую голубую сумочку. Можно было видеть, как она осторожно выбирает дорогу на заснеженных тротуарах, пересекает большую автостоянку у здания почты и, наконец, спускается по короткому широкому проходу к заливу, где расположился приземистый, обшитый белой вагонкой «Склад».

Джо оказался прав, когда вообразил, что Энджи страдает от страха перед выходом на публику: она много лет назад научилась ровно в пять пятнадцать вливать в себя несколько глотков водки, так что, когда – через полчаса – она покидала свою квартиру, ей приходилось придерживаться за стену, чтобы благополучно спуститься по лестнице. Но пройденный пешком путь прояснял ей голову, тем не менее оставляя в душе Энджи достаточно уверенности, чтобы подойти к роялю и, открыв крышку, сесть и начать играть. Больше всего ее пугал самый первый момент, звучание первых нот, потому что как раз тогда люди тебя по-настоящему слушают. Она изменяла атмосферу в холле, и пугала ее именно эта ответственность. Потому-то она и играла три часа подряд, без перерыва, чтобы избежать тишины, которая окутывает холл, не видеть, как улыбаются ей люди, когда она садится к роялю: нет, она не любила привлекать к себе внимание. Она просто любила играть на рояле. Через два

аккорда первой песни Энджи всегда охватывала радость. Ощущение было такое, будто она проскользнула внутрь музыки. *«Мы с тобой одно целое, – говорил ей Малькольм Муди. – Станем одним целым, Энджи... Что скажешь?»*

Энджи никогда музыке не училась, хотя люди чаще всего ее словам не верили. Так что она давно перестала говорить им про это. Когда ей было четыре года, она села за фортепиано в церкви и начала играть, ее саму это не удивило – ни тогда, ни теперь. *«У меня руки голодные»*, – говорила она матери, когда была еще девочкой, это и вправду было так похоже на голод. В церкви ее матери дали ключ, и даже теперь Энджи могла в любое время прийти в храм – играть на фортепиано.

Она услышала, что позади нее открывается дверь, на миг ощутила холодное дуновение, увидела, как закачалась мишура на елке, и услышала громкий голос Оливии Киттеридж: *«Чертовски паршивая погода. Люблю холод»*.

Чета Киттеридж, если они приходили одни, обычно являлась рано, и они не усаживались сначала в коктейль-холле, а шли прямо в обеденный зал. Тем не менее Генри, проходя мимо, всегда приветствовал ее словами *«Вечер добрый, Энджи!»*, широко улыбаясь при этом, да и Оливия вроде как здоровалась с ней

взмахом руки над головой. Любимой песенкой Генри была «Доброй ночи, Айрин»¹², и Энджи старалась не забыть сыграть ее попозже, когда Киттериджи будут выходить из ресторана. У очень многих были свои любимые песни, Энджи порой их играла, но не всегда. А Генри Киттеридж – это совсем другое дело. Для него она всегда играла его песню, потому что стоило ей его увидеть, как ей начинало казаться, что она вошла в поток теплого воздуха.

Сегодня Энджи нетвердо держалась на ногах. В последнее время случались вечера, когда водка не помогала ей, как это бывало долгие годы, делая ее счастливой, а все вокруг приятным и отдаленным. Сегодня вечером, как это теперь иногда случалось, Энджи ощущала, что с головой у нее творится что-то неладное – какой-то беспорядок. Она заставила себя улыбаться и ни на кого не смотрела, кроме Уолтера Долтона, сидевшего у конца стойки. Он послал ей воздушный поцелуй. Она подмигнула ему – чуть-чуть, едва заметно, можно было бы подумать, она просто моргнула, но ведь только *одним* глазом!

Было время, когда Малькольм Муди восхищался, если она вот так подмигивала ему. *«Господи боже, ты меня просто заводишь»*, – говорил он в те дни, когда

¹² «Goodnight, Irene» – одна из классических песен знаменитого блюзмена Лидбелли (Хадди Уильям Ледбеттер; 1888–1949).

приходил к ней, в ее квартирку на Вуд-стрит. Малькольм недолюбливал Уолтера Долтона и говорил о нем не иначе, как о гомике, каким тот и был на самом деле. А еще Уолтер был алкоголиком, и из колледжа ему пришлось уйти; теперь он жил в каком-то пансионе на острове Кумз. Уолтер являлся в бар каждый вечер, когда там играла Энджи. Иногда он приносил ей подарок: как-то – шелковый шарф, в другой раз – пару кожаных перчаток с крохотными пуговками сбоку. Он всегда вручал Джо ключи от своей машины, и часто после закрытия Джо отвозил Уолтера домой, а какой-нибудь помощник официанта ехал за ними на машине Джо, чтобы отвезти его назад.

«До чего же никчемная, жалкая жизнь, – говорил Малькольм про Уолтера, когда приходил к Энджи. – Просиживает там каждый вечер и напивается в стельку».

Энджи не нравилось, когда людей называли жалкими, но она ничего не говорила. Иногда – не очень часто – она думала, что некоторые могут счесть и ее жизнь с Малькольмом жалкой. Такое порой приходило ей в голову, когда она шла по залитому солнцем тротуару, или могло случиться, если она вдруг просыпалась ночью. Тогда у нее начинало колотиться сердце, и она повторяла в уме то, что сказал ей Малькольм за все проведенные вместе годы. Поначалу он гово-

рил: «Я думаю о тебе все время». Он и сейчас по-прежнему говорил: «Я тебя люблю». А иногда: «Что бы я делал без тебя?» Он никогда не дарил ей никаких подарков. Да она бы и не хотела, чтобы дарил.

Энджи услышала, как открылась и закрылась уличная дверь, снова почувствовала холодок с улицы. Уголком глаза уловила движение – какой-то мужчина в темном пальто усаживался в кресло в дальнем углу. И в том, как он наклонился, в его движениях было что-то такое, что вдруг напомнило ей о чем-то. Но сегодня она нетвердо держалась на ногах, и с головой творилось что-то неладное.

– Милочка, – шепнула она Бетти, проходившей мимо с подносом, уставленным пустыми бокалами, – не могла бы ты сказать Джо: мне очень надо немножко ирландского кофе.

– Конечно, – ответила Бетти, милая девушка, маленькая, точно ребенок. – Без проблем.

Энджи выпила кофе, держа чашку в одной руке, продолжая наигрывать «Веселитесь все в Святое Рождество!», и подмигнула Джо, который серьезно кивнул ей в ответ. Когда вечер подойдет к концу, она выпьет с Джо и Уолтером и расскажет им, как сегодня навещала мать в доме для престарелых, может, даже упомянет – а может, и нет – синяки на руке у матери, пониже плеча.

– Просьба, Энджи. – Бетти, проходя мимо, бросила на рояль коктейльную салфетку: на ладони поднятой над головой руки она несла поднос с бокалами, полными спиртного, и по тому, как прогибалась ее спина, когда Бетти обходила кресла, видно было, как он тяжел для нее. – Это вон от того мужчины, – добавила она, качнув головой в сторону кресел.

«Мост над бурной водой»¹³, – написано было на салфетке, но Энджи продолжала играть рождественские гимны, улыбаясь своей неуверенной улыбкой. Она не взглянула на мужчину, сидевшего в том углу. Сыграла все до одного гимны, какие только могла припомнить, но теперь ей уже не удавалось оказаться внутри музыки. Вероятно, если бы она выпила еще, это помогло бы, но человек в углу за ней наблюдает, он поймет, что в чашке, которую принесет ей Бетти, – не только кофе. Этого человека зовут Саймон. Когда-то он тоже был пианистом.

«Услышь и пади на колени, то ангелы хором поют...» Но Энджи казалось, что она упала за борт и плывет, путаясь в водорослях. Человек в темном пальто... Тьма от этого пальто словно сгустилась вокруг нее и давила на голову, ее окутывал расплывающийся ужас, каким-то образом связанный с ее

¹³ «Bridge over Troubled Water» – песня Пола Саймона и Арта Гарфанкела, большой хит 1970 г.

матерью. «Проберись внутрь!» – мысленно велела она себе. Но сегодня она очень нетвердо держалась. Она замедлила темп, заиграла «Первое Рождество», очень легко. Теперь ей виделось широкое заснеженное поле и на горизонте – зарождающаяся полоска нежного сияния.

Закончив играть, она сделала то, что саму ее по-настоящему поразило. Потом ей пришлось задумываться над тем, давно ли она собиралась так сделать, сама того не осознавая. Точно так же, как не разрешала себе вполне осознать, что Малькольм перестал говорить ей: «Я все время о тебе думаю».

Энджи сделала перерыв.

Изящным жестом она прижала коктейльную салфетку к губам, выскользнула из-за рояля и направилась к туалетам, рядом с которыми находился таксофон. Ей не хотелось беспокоить Джо, и она не попросила его передать ей сумочку.

– Дорогой, – тихонько сказала она Уолтеру, – у тебя мелочи не найдется?

Он вытянул ногу, залез в карман брюк и протянул ей монетки.

– Ты не просто конфетка, Энджи, ты – кондитерская! – произнес он заплетающимся языком.

Ладонь у него была влажная, даже монетки оказались влажными.

– Спасибо, милый, – поблагодарила она.

Энджи прошла к телефону и набрала номер Малькольма. Ни разу за все эти двадцать два года она ему домой не звонила, хотя давно запомнила номер его телефона. Двадцать два года, думала она, прислушиваясь к гудкам в трубке. Многие могли бы счесть это очень долгим сроком, но время представлялось Энджи таким же огромным и круглым, как небо, и пытаться понять его смысл было все равно что пытаться понять смысл музыки и Бога или почему океан так глубок. Энджи давно поняла, что не следует даже пытаться искать смысл в таких вещах, как это пытаются делать многие другие.

Малькольм взял трубку. И тут получилось очень любопытно: ей не понравился звук его голоса.

– Малькольм, – сказала она мягко, – я больше не смогу с тобой видеться. Мне ужасно жаль, но я больше не могу. – Молчание. Скорее всего, его жена там, с ним рядом. – Ну, пока тогда, – сказала Энджи.

Проходя мимо Уолтера, она сказала:

– Спасибо тебе, милый.

А он ответил:

– Всегда пожалуйста, Энджи.

Уолтер так опьянел, что голос у него стал совсем хриплым, лицо блестело.

Потом она заиграла ту песню, что просил Саймон, –

«Мост над бурной водой». Но позволила себе взглянуть на него, только когда уже почти закончила ее играть. Он не ответил на ее улыбку, и Энджи вдруг с ног до головы пронзило жаром.

Она улыбнулась рождественской елке; цветные лампочки показались ей ужасающе яркими, и на какой-то миг она пришла в замешательство оттого, что люди так поступают с деревьями – разукрашивают их всей этой сверкающей дешевой, а некоторые с нетерпением ждут этого весь год. А затем новая волна жара поднялась в ней при мысли о том, что всего через несколько недель елку разденут, снимут с крестовины, вынесут прочь и свалят на тротуар вместе с остатками серебристой мишуры, приставшей к веткам: Энджи представляла себе, как нелепо будет выглядеть на снегу это дерево, сваленное набок, с жалостно торчащим косо вверх тонким обрубленным стволом.

Она заиграла «Мы преодолеем...»¹⁴, но кто-то из публики крикнул ей: «Эй, что-то больно серьезно, Энджи!» – тогда она заулыбалась еще веселее и заиграла какой-то регтайм. Глупость какая – сыграть «Мы преодолеем...». Сейчас она поняла: Саймон решит,

¹⁴ «We Shall Overcome» – фолк-песня 1947 г., основанная на спиричуэлсе 1901 г. и с 1950-х гг. ставшая гимном движения за гражданские права.

что это глупо. «Ты так слащаво сентиментальна», – говорил он ей.

Но он говорил ей и другое. Когда он пригласил их с матерью на ланч в тот первый раз, он ей сказал: «Вы будто персонаж из замечательной волшебной сказки», а солнечные лучи ярко освещали их столик на палубе.

«Вы идеальная дочь», – сказал он ей, когда они уплывали на лодке, а мать махала им со скалистого берега рукой. «Энджела... У вас лицо ангела»¹⁵, – были его слова, когда они ступили на берег острова Паркербраш. Потом он прислал ей одну белую розу.

Ах, она тогда была совсем девчонкой. В то лето она как-то вечером пришла в этот самый коктейль-холл с друзьями и тут увидела его – он играл «Возьми меня с собою на луну»¹⁶. Похоже было, что он весь светится крохотными яркими огоньками.

Правда, Саймон тогда был очень нервным, все его тело при движении как-то подергивалось, словно у куклы, которую дергают за веревочки. В его игре чувствовалась большая сила. Но ему не доставало – в глубине души Энджи понимала это уже тогда – ну...

¹⁵ По-английски имя Энджела пишется «Angela» – «Ангела».

¹⁶ «Fly Me to the Moon» – песня Барта Говарда 1954 г., джазовый и поп-стандарт; ее исполняли Нэт Кинг Коул, Фрэнк Синатра, Квинси Джонс и др.

чувства не доставало. «Сыграй нам «Чувства»¹⁷, – иногда просили его присутствующие. Но он никогда эту вещь не исполнял. «Слишком старомодно, – говорил он. – Сладкие слюни».

Он приехал к ним в город из Бостона всего на одно лето, но остался на два года. Когда он решил порвать с Энджи, он объяснил ей: «Получается, что я должен на свидания ходить к тебе и к твоей матери вместе. А меня от этого просто в дрожь бросает». Потом он написал ей. «Ты – невротик, – писал он. – Ты – травматичка».

Энджи не могла пользоваться педалью – под длинной черной юбкой у нее тряслась нога. Саймон был единственным, кому она призналась, что ее мать брала с мужчин деньги.

От барной стойки донесся взрыв смеха, и Энджи взглянула туда, но это всего лишь какой-то рыбак развлекал Джо своими рассказами. Уолтер Долтон нежно улыбнулся ей и повел глазами в сторону рыбака.

Мать Энджи связала им троим на Рождество три похожих голубых свитера. Когда мать вышла из комнаты, Саймон сказал: «Мы никогда не станем надевать их одновременно». Мать купила ему целую грудку за-

¹⁷ «Feelings» (1975) – хит Морриса Альберта; песню также исполняли Элла Фицджеральд, Фрэнк Синатра, Нина Симон, Энгельберт Хампердинк и др.

писей Бетховена. Когда Саймон уехал, она написала ему, попросив записи вернуть. Однако он их назад не прислал. Мать сказала: «Ну что ж, мы все-таки можем хотя бы голубые свитеры носить». И когда мать надевала голубой свитер, она требовала, чтобы и Энджи надевала свой. Однажды мать сообщила Энджи: «Знаешь, Саймона отчислили из музыкального колледжа. Теперь он стал юристом, недвижимостью в Бостоне занимается. Боб Бини на него в Бостоне натолкнулся». – «Ну и ладно», – сказала тогда Энджи.

В те дни она думала, что больше его не увидит. Потому что заметила, как тень зависти темным облаком прошла по его лицу, когда она рассказала ему (ох, она говорила ему буквально все – таким ребенком она тогда была, в той лачуге, где они жили с матерью), как – ей было всего пятнадцать лет! – какой-то человек из Чикаго услышал ее игру на соседской свадьбе. А у него была музыкальная школа, и он поговорил с матерью – целых два дня ее уговаривал. Энджи нужно учиться в этой школе. У нее будет стипендия, отдельная комната, бесплатное питание. «Нет, – ответила мать Энджи. – Она – мамочкина дорогая девочка». Но многие годы Энджи рисовала в своем воображении эту школу: белое просторное здание, где очень хорошие люди целый день играют на фортепиано. Добрые мужчины и женщины стали бы ее учить, она научи-

лась бы читать ноты. Там все комнаты отапливались бы. И там не было бы этих звуков, что доносятся из маминой комнаты, – звуков, из-за которых всю ночь ей приходится затыкать уши, звуков, из-за которых она уходит из дому в церковь играть на фортепиано. Но нет, мама Энджи решила. Энджи – мамочкина дорогая девочка.

Энджи снова взглянула на Саймона. Он наблюдал за ней, откинувшись на спинку кресла. От него вовсе не шло к ней тепло, как это бывало всегда, стоило Генри Киттериджу войти в дверь ресторана, или вот как сейчас – от того места у барной стойки, где сидел Уолтер Долтон.

Зачем приехал Саймон, что хотел здесь увидеть? Она представила себе, как он пораньше уходит из своей адвокатской конторы и едет в темноте вдоль побережья. Может, он развелся, может, у него кризис? У мужчин часто случается кризис, когда им далеко за пятьдесят и они оглядываются назад, задаваясь вопросом, почему все сложилось так, как сложилось. И вот он – после скольких лет? – подумал (или не подумал) о ней, но все же по какой-то причине взял и приехал в Кросби, в штат Мэн. Он что, знал, что она будет здесь сегодня играть?

Уголком глаза она увидела, как он поднялся с места, и вот он уже облокотился на ее кабинетный рояль

и смотрит прямо на нее. Оказывается, он потерял почти всю свою шевелюру.

– Привет, Саймон, – произнесла Энджи.

Сейчас она играла то, что только что сама сочинила, пальцы бежали по клавишам.

– Привет, Энджи, – сказал он.

Саймон больше не был таким мужчиной, на которого хотелось бы взглянуть еще разок. Вполне возможно, что и в те давние годы вы не захотели бы еще раз на него взглянуть, только тогда это не имело такого значения, какое многие этому придавали. Не имело значения, что он тогда носил уродскую кожаную куртку и думал, что это круто. Просто невозможно было перестать чувствовать то, что чувствуешь, и неважно было, как тот человек поступает. Просто нужно было ждать. Со временем это чувство уходило, потому что приходили другие. Или оно не уходило, а сжималось во что-то очень маленькое и повисало прядкой мишуры где-то на задворках души. Сейчас Энджи уже проскальзывала внутрь музыки.

– Ну как ты, Саймон? – спросила она, улыбаясь.

– Прекрасно, спасибо, – он слегка кивнул, – очень хорошо. – Тут, словно неожиданный укол, она почувствовала опасность. Его взгляд не был теплым. Раньше у него был теплый взгляд. – Вижу, у тебя попрежнему рыжие волосы, – заметил он.

– Признаюсь, сейчас мне приходится их подкрашивать.

Он молча смотрел на нее; пальто висело на нем как на вешалке. Одежда всегда висела на нем как на вешалке.

– Ты по-прежнему юрист, Саймон? Я слышала, ты стал юристом.

Он кивнул:

– По правде говоря, у меня это хорошо получается. Приятно, когда у тебя что-то хорошо получается.

– Да. Конечно, приятно. В какой области ты работаешь?

– Занимаюсь недвижимостью. – Он опустил голову. Но тут же поднял ее, выпятил подбородок. – Это забавно. Вроде головоломки.

– Ах вот как! Ну замечательно. – Энджи перенесла левую руку над правой, легко пробежалась по клавишам.

– Завела семью, Энджи?

– Нет. Нет, не завела. А ты?

Она уже заметила обручальное кольцо у него на пальце. Очень толстое. Никогда не думала, что он из тех, кто захочет носить такое толстое кольцо.

– Да. У меня трое детей. Два мальчика и одна девочка. Все уже взрослые.

Он переступил с ноги на ногу, все еще опираясь о

рояль.

– Это замечательно, Саймон. Просто замечательно.

Она забыла про «Приидите, все верующие...». Теперь Энджи начала играть этот гимн, ее пальцы погружались в него все глубже: порой, когда она играла, она была словно скульптор, ей думалось, она лепит, разминает прекрасную густую глину.

Саймон взглянул на часы:

– Значит, ты заканчиваешь в девять?

– Да. Конечно. Только, боюсь, я должна буду сразу же смыться отсюда. Сожалею.

Ее больше не бросало в жар, наоборот, она всей кожей чувствовала холод. Голова сильно болела.

– Ладно, Энджи. – Саймон выпрямился. – Тогда я пошел. Приятно было повидать тебя после всех этих лет.

– Да, Саймон. Приятно было повидать тебя.

С противоположной стороны рояля протянулась рука – Бетти поставила там чашку кофе. «От Уолтера», – сказала она, проходя мимо.

Энджи обернулась и снова моргнула-подмигнула Уолтеру, а он ответил ей мутным взглядом.

Саймон двинулся прочь. И тут как раз появились Киттериджи, уходившие из ресторана, Генри махал ей рукой. «Доброй ночи, Айрин» – заиграла Энджи.

Саймон повернул назад. Два дергающихся движения – и он снова рядом с ней, наклоняется так, что его лицо оказывается у ее лица.

– Ты знаешь, что твоя мать приезжала в Бостон по-видаться со мной?

У Энджи запылали щеки.

– Она приехала автобусом фирмы «Грейхаунд», – услышала Энджи голос Саймона у самого уха, – потом взяла такси до моего дома. Когда я впустил ее в квартиру, она попросила чего-нибудь выпить и стала снимать с себя платье. Медленно так расстегивала пуговицу наверху, у горла.

У Энджи пересохло во рту.

– И мне так жалко тебя было, Энджи. Все эти годы. Она улыбалась, глядя прямо перед собой.

– Доброй ночи, Саймон, – выговорила она.

Энджи выпила ирландский кофе до доньшка, держа чашку одной рукой. Потом она играла самые разные песни. Она не сознавала, что именно играет, не могла бы сказать, но теперь она существовала внутри музыки, а огоньки на елке сияли ярко и вроде бы изда- лека. Вот так, внутри музыки, ей стало многое понят- но. Стало понятно, что Саймон – человек разочаро- ванный, если он почувствовал необходимость, в его- то возрасте, сообщить ей, что все эти годы ему бы- ло ее жалко. Стало понятно, что сейчас, когда он, за

рулем машины, едет вдоль побережья обратно к Бостону, к жене, с которой вырастил троих детей, что в нем успокоилось оттого, что он увидел ее, Энджи, такой, какой она была сегодня; а еще она поняла, что этот вид утешения свойствен многим людям. Вот и Малькольм чувствует себя лучше, когда называет Уолтера Долтона жалким гомиком; но этот вид питания – всего лишь снятое молоко: это ведь не изменит того факта, что ты хотел быть концертирующим пианистом, а стал юристом и занимаешься недвижимостью или что женился на женщине и остаешься с ней вот уже тридцать лет, а она так и не обнаружила, что ты прекрасен в постели.

Коктейль-холл теперь почти опустел. И стало теплее, потому что дверь с улицы уже не все время открывалась. Она сыграла «Мы преодолеем...». Сыграла дважды, медленно и величественно, и посмотрела в сторону барной стойки, где ей улыбался Уолтер. Он высоко поднял сжатый кулак.

– Хочешь, подвезу тебя домой, Энджи? – спросил ее Джо, когда она опустила крышку рояля и подошла забрать шубку и сумочку.

– Нет, спасибо, дорогой, – ответила она, а Уолтер в это время помогал ей надевать белую шубку из искусственного меха. – Прогулка пойдет мне на пользу.

Зажав в руке плоскую голубую сумочку, Энджи осто-

рожно преодолевала сугроб у тротуара, выбирала себе путь через парковку у здания почты. Зеленые цифры у банка показывали три градуса мороза¹⁸, однако она не чувствовала холода. Но тушь на ресницах замерзла. Мама научила ее не трогать ресницы, когда так холодно, не то они могут отломиться.

Она свернула на Вуд-стрит; свет фонарей казался бледным в этой холодной тьме, и Энджи произнесла «Ха!», потому что столько всего совершенно сбивало ее с толку. Так бывало довольно часто после того, как она существовала внутри музыки, как это случилось сегодня.

Она чуть запнулась в своих черных сапожках на высоком каблуке и оперлась рукой о перила крыльца.

– Потаскуха!

Энджи не заметила, что он стоит у дома, в темной тени от выступа крыльца.

– Ты потаскуха, Энджи. – Он сделал шаг к ней.

– Малькольм, – тихо сказала она, – ну пожалуйста!

– Позвонить мне домой! Кто ты, твою мать, такая, по-твоему?

– Ну... – произнесла Энджи. Она сжала губы и поднесла ко рту указательный палец. – Хорошо. Давай разберемся.

¹⁸ Три градуса ниже нуля по Фаренгейту – это примерно 19 градусов мороза по Цельсию.

Не в ее стиле было звонить ему домой, но еще меньше в ее стиле было бы напоминать ему, что за двадцать два года она никогда прежде этого не делала.

– Ты – безмозглая долбаная дура, – сказал Малькольм. – Да еще пьянь худая.

Он двинулся прочь. Энджи увидела его грузовик, припаркованный у соседнего жилого массива.

– Протрезвеешь – позвони мне на работу, – бросил он через плечо. Потом, уже более спокойно, добавил: – И не вздумай ту твою дерьмовую чушь мне снова долбить.

Даже сейчас, пьяная, Энджи знала: она не станет звонить ему, когда протрезвеет. Она вошла в дверь многоквартирного дома и села на ступеньки лестницы. Энджела О'Мира.

Лицо как у ангела. Пьянь худая. Ее мать продавала себя мужчинам. Не завела семью, Энджела?

Но, сидя на ступеньках, она говорила себе, что ее жизнь не менее и не более жалка, чем жизнь любой женщины, в том числе и жены Малькольма. И люди к ней добры. Уолтер, Джо, Генри Киттеридж. Нет, определенно свет не без добрых людей. Завтра она явится на работу пораньше и расскажет Джо о своей матери и о синяках у нее на руке. «Ты представляешь, – скажет она Джо, – представляешь? Кто-то вот так ущип-

нул старую парализованную женщину!»

Энджи сидела теперь на ступеньках, прислонясь головой к стене, оправляя пальцами черную юбку. Она чувствовала, что поняла что-то важное слишком поздно и что, вероятно, так оно всегда и бывает в жизни: начинаешь понимать что-то слишком поздно. Завтра она пойдет играть на фортепиано в храме и перестанет думать о синяках пониже плеча на руке у матери, на ее исхудалой руке, где кожа такая мягкая и обвислая, что, если сжать ее в пальцах, трудно представить себе, что она может чувствовать боль.

Малый всплеск

Три часа тому назад, пока солнце еще жарило во всю мочь сквозь кроны деревьев и заливало ярким светом лужайку позади дома, местный врач-ортопед, мужчина средних лет по имени Кристофер Киттеридж, сочетался браком с неместной женщиной по имени Сюзанна. Для них обоих это первый брак, и свадьба оказалась не очень людным, вполне приятным событием, которое украсили звуки флейты и корзины мелких желтых роз, расставленные как внутри дома, так и снаружи. До сих пор в благовоспитанной веселости гостей не заметно ни признака спада, из-за чего Оливия Киттеридж, стоящая у накрытого на лужайке стола, начинает подумывать о том, что всем им давно уже пора бы разойтись.

Весь сегодняшний день Оливия пыталась побороть ощущение, что она медленно погружается под воду, — мрачное, рождающее в душе панику чувство, тем более гнетущее, что за всю свою жизнь она так и не сумела научиться плавать. Заталкивая бумажную салфетку между планками складного стола, она думает: «Ну ладно. С меня хватит». И, опустив глаза, чтобы не увязнуть еще в какой-нибудь пустопорожней беседе, она огибает дом и входит в боковую дверь, ведущую

прямо к спальне ее сына. Здесь она ступает по сосновым половицам, желто отсвечивающим в солнечных лучах, и ложится на широченную кровать Кристофера (и Сюзанны).

Платье Оливии (оно, разумеется, играет сегодня существенную роль, ведь Оливия – мать жениха) сшито из тонкого, просвечивающего зеленого муслина с крупными розовато-красными геранями по всему полю; ей нужно так устроиться на кровати, чтобы оно не закрутилось и не измялось, да еще так, чтобы, если вдруг кто-то войдет, она выглядела прилично. Оливия – женщина крупная. Это-то она о себе знает, но ведь она не всегда была такой полной, и ей приходится к этому привыкать. По правде говоря, она всегда была высокого роста и довольно часто чувствовала себя неуклюжей, но эти ее *взаимоотношения с полнотой* начались с возрастом: у нее раздулись лодыжки, округлились плечи, так что у основания шеи сзади появился валик, а запястья и кисти рук стали, кажется, такими же крупными, как мужские. Оливия огорчается – еще бы ей не огорчаться! Иногда, никому не признаваясь, огорчается очень сильно. Однако на этом этапе игры она вовсе не собирается отказываться от наслаждения едой, и в данный момент это означает, что она, вероятно, выглядит как толстый задремавший тюлень, обмотанный чем-то вроде зеле-

ной марлевой повязки. Но с платьем все вышло вполне удачно, думает Оливия, откидываясь на подушки и закрывая глаза. Гораздо удачнее, чем с темными, мрачными одеяниями, в которых явилось семейство Бернстайн, словно их пригласили на похороны, а не на свадьбу в этот солнечный июньский день.

Дверь спальни Кристофера приоткрыта, и сюда доносятся голоса и разные звуки из передней части дома, где продолжается торжество: постукивание каблучков по коридору, грохот агрессивно захлопнутой двери в туалет. («Честно говоря, – думает Оливия, – почему бы не закрыть дверь тихо и аккуратно?») Звук скребущего пол стула из гостиной, и – оттуда же – вместе с приглушенным смехом и разговорами доносится аромат кофе и густой, сладкий запах печеного теста: так пахло на улице возле пекарни-временки «Ниссен», пока ее не закрыли. Еще доносится запах самых разных духов, включая и те, что напомнили Оливии запах спрея «Офф!» – средства от насекомых. Все эти запахи как-то ухитрились распространиться по коридору и вплыть сюда, в спальню.

Да еще и сигаретный дым. Оливия открывает глаза. Кто-то курит в саду за домом. В открытое окно ей слышно покашливание и щелчок зажигалки. Они просто все вокруг заполонили! Она представляет себе, как тяжелые башмаки шагают по клумбе с гладиолу-

сами, а затем, услышав, как кто-то спускает воду в туалете в конце коридора, на миг воображает, что дом рушится, лопаются трубы, с треском переламываются половицы, опрокидываются на пол стены. Оливия приподнимается на кровати, устраивается поудобнее, подкладывает в изголовье еще одну подушку.

Она сама строила этот дом. Ну, почти сама. Много лет назад они с Генри сделали все чертежи, а потом работали в тесном контакте с подрядчиком, чтобы у Криса было приличное жилье, когда он вернется домой из ортопедического колледжа. Когда строишь дом самостоятельно, у тебя возникает совсем иное чувство по отношению к нему, чем у других людей. Оливии это известно по опыту, потому что она любит – всегда любила – делать вещи сама: платья, сады, дома. (Желтые розы она сама расположила в корзинах сегодня утром, еще до восхода солнца.) Ее собственный дом, ниже по дороге, в нескольких милях отсюда, тоже построили они с Генри много лет назад, а совсем недавно Оливия уволила уборщицу за то, что глупая девчонка тащила пылесос по полу так, что он бил в стены и с грохотом катился по лестнице.

Во всяком случае, Кристофер по достоинству ценит этот дом. В последние несколько лет они втроем – Оливия, Генри и Кристофер – заботились о доме все вместе: повырубили кое-какие деревья, посадили си-

рень и рододендроны, рыли ямы под столбы – поставить забор. А теперь Сюзанна (доктор Сью, как мысленно называет ее Оливия) возьмет эти заботы на себя, и, поскольку она из богатой семьи, она, скорее всего, наймет экономку, да и садовника тоже может нанять. («Влюбилась в ваши миленькие настурции», – несколько недель тому назад сказала Оливии доктор Сью, указывая на рядки петуний.) Но это ведь не так важно, думает теперь Оливия. Ты просто отходишь в сторонку, чтобы дать дорогу новому.

Сквозь закрытые веки Оливия видит красный свет, косо падающий в открытые окна, чувствует, как солнце греет ей икры и щиколотки, а ладонью она ощущает, как его лучи согревают мягкую ткань ее платья, оно и в самом деле получилось удачным. Ей приятно думать о куске черничного пирога, который ей удалось украдкой положить в свою большую кожаную сумку, о том, как она вскоре отправится домой и спокойно его съест, сняв тесные колготки, и все вернется в норму.

Оливия чувствует, что кто-то в комнате есть, и открывает глаза. Маленькая девочка стоит в дверях и пристально на нее смотрит: это одна из маленьких племянниц невесты, приехавших из Чикаго. Та самая девчушка, которая должна была усыпать розовыми лепестками землю у ног жениха и невесты перед брачной церемонией, но в последний момент решила,

что не хочет этого делать, и отступила назад с надутым видом. Доктор Сью, впрочем, очень мило прореагировала на это, сказала девочке что-то успокаивающее и положила ладонь ей на головку. В конце концов Сюзанна вполне добродушно крикнула женщине, стоявшей под деревом: «Можно начинать!» – и та заиграла на флейте. Тогда Сюзанна прошла прямо к Кристоферу, который не улыбался и застыл, как выброшенная волной на берег лесина, и так они стояли вдвоем, пока на лужайке совершалась брачная церемония.

Но этот жест – нежная ладонь на головке девочки, то, как рука Сюзанны одним быстрым движением ласково погладила тонкие волосы и нежную шейку ребенка, – остался перед мысленным взором Оливии. Будто она видит, как какая-то женщина ныряет с лодки и легко плывет к причалу. Напоминание о том, как некоторые люди могут делать то, на что другие вовсе не способны.

– Привет, – говорит Оливия девочке, но та не отвечает. Минуту спустя Оливия спрашивает: – А сколько тебе лет?

Она теперь уже плохо разбирается в маленьких детях, но предполагает, что девчужке должно быть годика четыре или пять: в семье Бернстайн вроде бы нет высокорослых.

Малышка по-прежнему молчит.

– Ну, теперь беги и играй, – говорит ей Оливия, однако девочка прислоняется к дверному косяку и слегка покачивается туда-сюда, глаза ее устремлены на Оливию. – Это невежливо – так пялиться, – замечает Оливия, – разве тебе это не объяснили?

Все еще покачиваясь, девочка спокойно заявляет:

– Ты выглядишь все равно как мертвая.

Оливия поднимает голову:

– Значит, вас теперь *таким* вещам учат? Учат такое говорить?

Но, откидываясь на подушки, она вдруг ощущает физическую реакцию – чуть заметную боль за грудной, возникшую на миг, словно мановение крыла где-то у нее внутри. Этому ребенку после таких речей надо как следует вымыть рот водой с мылом.

Впрочем, день уже почти подошел к концу. Оливия смотрит в потолочное окно над кроватью и убеждает себя, что, по всей вероятности, ей удалось благополучно пережить этот день. Она рисует в воображении картину нового сердечного приступа в день свадьбы сына: она сидела бы на складном стуле на лужайке, на глазах у всех присутствующих и, после того как ее сын произнес «да», она неожиданно молча упала бы замертво лицом в траву, а ее огромный зад торчал бы вверх вместе со всеми этими просвечивающими геранями. Потом все говорили бы об этом много дней на-

пролет.

– А что это за штуки у тебя на лице?

Оливия поворачивается лицом к двери:

– Как, ты все еще тут? Я думала, ты ушла.

– У тебя на лице из одной такой штуки волосок торчит, – говорит девочка, теперь уже гораздо храбрее, и делает шаг в комнату. – Которая на подбородке.

Оливия снова обращает взор к потолочному окну и воспринимает эти слова без биения крыла у себя в груди. Поразительно, какими противными теперь растут дети! Зато как здорово было сделать это окно над кроватью. Крис говорил ей, что иногда зимой он может, лежа в постели, смотреть, как идет снег. Он всегда был таким, он совсем не такой, как другие, очень впечатлительный, чуткий. Потому он и стал замечательным художником и пишет в основном маслом, хотя мало кто мог бы ожидать этого от ортопеда. Он очень сложный, интересный человек – ее сын, такой впечатлительный уже в детские годы, что однажды, читая «Хайди»¹⁹, он написал картину – иллюстрацию к прочитанному: какие-то полевые цветы на альпий-

¹⁹ Хайди – героиня романа швейцарской писательницы Йоханны Спири (1829–1901) «Волшебная долина» (1880, рус. пер. 2000). Йоханна Спири писала на немецком языке книги для детей среднего школьного возраста. Английский перевод романа носит название «Хайди: годы странствий и учения» (*Johanna Spyri. Heidi's Years of Wandering and Learning*).

ском склоне.

– Что это за штука у тебя на подбородке?

Оливия замечает, что девочка жует ленточку от платья.

– Это крошки, – отвечает она, – от маленьких девочек, которых я съела. А теперь уходи, пока я тебя тоже не слопала. – И она делает большие глаза.

Девочка делает шаг назад, держась за косяк.

– Все ты выдумываешь, – наконец произносит она, однако поворачивается и исчезает.

– Давно пора, – бормочет Оливия.

Теперь ей слышен неровный стук высоких каблуков по коридору. «Ищу комнатку для девочек», – произносит женский голос, и Оливия узнает голос Дженис Бернстайн, матери невесты. Голос Генри ей отвечает: «Это прямо, прямо вон там!»

Оливия ждет, что Генри заглянет в спальню, и минутой спустя он так и делает. Его большое лицо сияет приветливостью, как это всегда случается с Генри в многолюдных компаниях.

– Ты в порядке, Олли?

– Ш-ш-ш. Тихо! Мне не хочется, чтобы все узнали, что я тут.

Он проходит глубже в комнату.

– Так ты в порядке? – шепчет он.

– Я готова ехать домой. Хотя думаю, ты-то готов

держаться до конца. Терпеть не могу взрослых женщин, называющих уборную «комнаткой для девочек». Она что, напилась?

– Да нет, не думаю, Олли.

– Они там курят. – Оливия кивком указывает на открытое окно. – Надеюсь, они дом не подожгут?

– Не подожгут. – Потом, минутой позже, Генри произносит: – Думаю, все прошло хорошо.

– О, конечно! Теперь иди попрощайся со всеми, и можно будет отправляться домой.

– Он женился на симпатичной женщине, – произносит Генри, задержавшись у изножья кровати.

– Да, думаю, ты прав.

Оба с минуту молчат: все-таки это шок. Их сын, их единственный ребенок, теперь женат. Ему тридцать восемь лет, они успели к нему здорово привыкнуть.

Как-то был случай, они надеялись, что он женится на своей ассистентке, но это продолжалось не очень долго. Потом им казалось, что он вот-вот женится на учительнице: она жила не в их городе, а на острове Тёртл-Бэк, однако и та история не слишком затянулась. И вот случилось это – прямо как гром с ясного неба. Сюзанна Бернстайн, д. м. н., д. ф. н., объявилась в их городе, прибыв на какую-то конференцию, и всю неделю носилась по окрестностям в новых туфельках. Туфельки вызвали воспаление врос-

шего ногтя и волдырь на стопе размером с большой стеклянный шарик, в какие играют мальчишки. Сегодня Сюзанна целый день повторяла эту историю: «Я посмотрела в справочнике на желтых страницах, и к тому времени, как я попала к нему в кабинет, я успела *напрочь* погубить свои ноги! Ему пришлось просверлить мне ноготь насквозь. Это же надо – так встретиться!»

Оливия сочла ее историю глупой. Почему этой девице, со всеми ее деньгами, не пришло в голову просто купить пару туфель, подходящих по размеру?

Тем не менее именно так эта парочка и познакомилась. А все остальное, как Сюзанна не уставала повторять весь день, стало достоянием истории. Если можно шесть недель называть историей. Потому что и это «остальное» тоже было поразительно: сочетаться браком, скоропалительным, как удар молнии. «А зачем ждать?» – спросила Сюзанна у Оливии, когда они с Кристофером заехали показать родителям кольцо. Оливия согласилась: «Не вижу причин».

– И все-таки, Генри, – говорит теперь Оливия. – Как это – гастроэнтеролог? Вокруг полно других врачей на выбор, даже искать не надо. Не хочется думать об этом.

Генри смотрит на жену рассеянным взглядом.

– Да, понимаю, – говорит он.

Солнечный зайчик трепещет на стене, белые занавеси слегка шевелятся. Снова доносится запах сигаретного дыма. Оливия и Генри молчат, уставясь на изножье кровати, пока Оливия не произносит:

– Она очень положительная личность.

– Кристоферу будет с ней хорошо, – откликается Генри.

Они разговаривают почти шепотом, однако при звуке шагов, донесшихся из-за полуоткрытой в коридор двери, поворачиваются к ней с приятно-оживленными лицами. Но мать Сюзанны не останавливается: не задерживаясь, проходит мимо в своем темно-синем костюме, держа в руке сумочку, больше похожую на миниатюрный чемодан.

– Давай-ка ты лучше выйди к ним, – говорит Оливия, – а я через минуту тоже приду попрощаться. Только дай мне секундочку отдохнуть.

– Конечно, отдохни, Олли.

– А что, если нам заехать по дороге в кафе «Пончики Данкина»? – говорит Оливия.

Им нравится сидеть там в кабинке у окна, и там есть официантка, которая их знает, она мило поздоровается и оставит их одних.

– А почему бы и нет? – отвечает ей Генри от двери.

Откинувшись на подушки, Оливия вспоминает, каким бледным был ее сын там, на лужайке, во время

брачной церемонии. Сдержанно, в присущей Кристоферу манере, он благодарным взглядом смотрел на свою невесту, стоявшую с ним рядом, такую худенькую, с маленькой грудью, взиравшую на него снизу вверх. Ее мать плакала. Ну, тут было на что посмотреть – из глаз Дженис Бернстайн изливались потоки всамделишных слез. Потом она спросила у Оливии: «А разве вы не плачете на свадьбах?» – «Не вижу причин плакать», – ответила Оливия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.